

Фина Катерли



ЗЕМЛЯ БЕДОВАННАЯ



Нина Семеновна Катерли

Земля бедованная (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8687237

*Катерли Н. Земля бедованная: Повести, рассказы.: ООО «Союз писателей Санкт-Петербурга» / «Геликон Плюс»; СПб; 2014
ISBN 978-5-93682-932-1*

Аннотация

Сборник «Земля бедованная» известной санкт-петербургской писательницы Нины Катерли представляет прозу, относящуюся к семидесятым-восьмидесятым годам XX века.

В книге собраны как произведения фантастического реализма – жанра, который принес автору известность, так и традиционные реалистические рассказы. В сборник вошла написанная в 1983 году и нигде ранее не публиковавшаяся фантастическая повесть «Костылев».

По словам Нины Катерли, общая тема книги «Земля бедованная» – живая человеческая душа в условиях абсурдной и деформирующей советской действительности.

Книга содержит реальный комментарий, который поможет ввести молодого читателя в общественно-политический, культурный и бытовой контекст позднесоветского времени.

Содержание

О прозе Нины Катерли	6
Треугольник Барсукова (Сенная площадь)	8
Часть первая	8
1	8
2	9
3	10
4	12
5	14
6	16
7	19
8	21
9	23
10	24
11	25
Часть вторая	28
1	28
2	33
3	40
4	42
5	46
6	51
7	58
8	68

Часть третья	74
1	74
2	76
3	80
4	81
5	85
Эпилог	89
Червец	96
Глава первая	96
Ленточное существо	96
Временно направлен	98
Совершенно секретный	106
Гора	114
Павел Иванович и его соседи	118
К вопросу...	127
Глава вторая	133
Личная жизнь	133
Осюнчик	140
Вера	148
Глава третья	172
Инженер	172
Выходной день	187
Глава четвертая	201
Успехи в работе	201
Конец ознакомительного фрагмента.	203
Комментарии	

Нина Катерли

Земля бедованная

(сборник)

Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга

© Катерли Н., текст, 2014

© Эфрос Е. М., составление, примечания, 2014

© Опритов А. В., оформление, макет, 2014

О прозе Нины Катерли

Современники Толстой и Достоевский, Тургенев и Лесков, Чехов и Куприн, Булгаков и Платонов часто описывали одну и ту же окружающую их реальность, но при этом создавали принципиально разные миры.

Повременим ставить Нину Катерли в этот ряд. В конце концов история литературы рассудит и всех расставит по своим местам.

Но одним своим фундаментальным качеством писательница принадлежит к избранному кругу: она – создательница своего мира. А это дано не всякому, и именно это отличает писателя от человека с той или иной степенью ловкости сочиняющего различные тексты.

Советский мир, в котором сформировалась Нина Катерли, будучи многообразно абсурдным, давал талантливому человеку заманчивые возможности – воспроизводить те аспекты этого гигантского сюжета, которые видел и осознавал только он. И «Треугольник Барсукова» и «Червеца» с их безумной, но абсолютно соответствующей советской жизни логикой могла написать только Нина Катерли.

Советский мир с его брезгливой жестокостью к людям давал талантливому человеку благородную возможность противопоставить ему горькое сострадание. «Землю бедованную» и «Старушка, не спеша...» могла написать только Нина

Катерли. И смысл ее сочинений выходил далеко за пределы изучения конкретного советского быта.

Читая Нину Катерли мы получаем урок высокой значимости: да, мир бывает жесток и абсурден, но жить надо так, как будто он разумен и добр.

И особое место в книге, придавая ей дополнительную значимость, занимает реальный комментарий Елены Эфрос, делающий «дела минувших дней» осязаемыми и абсолютно понятными.

Яков Гордин

Треугольник Барсукова (Сенная площадь)

Посвящается М. Эфросу^[1]

*«Это ведь родина. Что же ты плачешь, дурак!»
Дмитрий Бобышев^[2]*

Часть первая Ужасные новости

1

Марья Сидоровна Тютина по обыкновению встала в восемь, позавтракала геркулесовой кашей, вымыла посуду за собой и мужем и отправилась в угловой «низок», где накануне определенно обещали с утра давать тресковое филе^[3].

Марья Сидоровна заранее чек выбивать не стала, а заняла очередь, чтобы сперва взвесить^[4]. Отстояв полдня, уж полчаса всяко, она оказалась, наконец, у прилавка, и тут эта ей сказала, что без чеков не отпускаем. Марья Сидоровна убе-

¹ Автор Примечаний – Елена Эфрос. См. раздел «Примечания» в конце книги.

дительно просила все же взвесить полкило для больного, потому что она здесь с утра занимала, а к кассе полно народу, но продавщица даже не стала разговаривать, взяла чек у мужчины и повернулась задом. Из очереди на Марию Сидоровну закричали, чтоб не задерживала – всем на работу, и тогда она пошла к кассе, сказала, что ей только доплатить и выбила семьдесят копеек. Но к прилавку ее, несмотря на чек, не пропустили, потому что ее очередь уже прошла, а филе идет к концу.

Когда Мария Сидоровна сказала, что она здесь стояла, то одна заявила, что лично она никого не видела. Бывают же люди на свете! Мария Сидоровна связываться не стала, а пошла в хвост очереди и отстояла еще двадцать минут, а за три человека до нее треска кончилась.

2

Петр Васильевич Тютин, муж Марьи Сидоровны, пенсионер, любит читать газеты и общественно-политические журналы, потому что он ветеран и член партийного бюро ЖЭКа^[5]. Выходя в среду утром из дому, он взял с собой мелкие деньги в сумке, требуемые для покупки «Недели» и «Крокодила»^[6], плюс две копейки, чтобы позвонить в квартирную помощь и вызвать врача жене, заболевшей нервным потрясением от вчерашнего. В телефонной будке Петр Васильевич частично по рассеянности, а отчасти в расстройстве

бросил в щель таксофона вместо двух копеек гривенник^[7]. В поликлинике ему грубо сказали, что невропатологи на дом не ходят, а к старше шестидесяти так уж просто смешно, хоть стой хоть падай, а когда Петр Васильевич потом пришел к газетному ларьку, то ему, естественно, не хватило восьми копеек, и пришлось остаться без «Крокодила».

3

Тютина Анна после окончания восьмилетки прошла по конкурсу в газотопливный техникум, где на танцах познакомилась с волосатым Андреем^[8], сыном профессора из интеллигентной семьи. Непонятно, кстати, что это такое за интеллигенты в кавычках, если сыновья у них не могут постричься, как люди, а ходят, похожие на первобытного человека.

На последнем курсе Анна с Андреем поженились, после чего он пошел учиться дальше, в Технологический институт, к папе, Анна же была вынуждена работать по распределению на абразивном заводе в три смены, чтобы содержать семью, а стипендии охломон не получал из-за успеваемости, которая, несмотря на блат^[9], была намного ниже средней.

Родители Анны, Петр Васильевич и Марья Сидоровна, в качестве пенсионеров не могли все время помогать молодым материально, а отец Андрея оказался подлецом и, будучи профессором химии, не давал сыну ни копейки, якобы из принципа: раз женился, потрудись сам себя содержать, а на

самом-то деле, потому что ненавидел невестку, считая ее и ее родителей ниже себя. И, наверное, имел две семьи, как они все.

Закончив институт, Андрей при помощи отца все же устроился в аспирантуру, а Анна продолжала ломить сменным мастером термического цеха, имея к этому времени уже двух детей от трех до пяти лет.

Еще через четыре года Андрей защитил кандидатскую и стал получать двести пятьдесят рублей в месяц, у Анны же как раз в это время от недоедания и нервов открылся миокардит, и тут случайно выяснилось, что этот мерзавец встречается с другой женщиной, аферисткой и «сотрудницей отца», то есть дочерью другого богатого профессора, такого же прохиндея, как они все.

Марья Сидоровна и Петр Васильевич имели все основания обратиться к руководству, чтобы сохранить семью^[10], но у них-то блата нигде не было, и они посчитали это ниже достоинства. Теперь Андрей живет в новой квартире на Типанова с новой бабой, похожей на селедку в шубе, оба профессора сами не свои от радости, а, между прочим, кандидатского жалования ему бы сроду не видать, если бы Анна не отдала за это всю свою молодость и здоровье.

Сама Анна, оставшись с миокардитом и двумя детьми, теперь правильно думает, что, как говорят родители, лучше вырастить детей одной, чем жить с подлецом, недалеко укатившимся от своей яблони.

Антонина Бодрова, соседка стариков Тютиных по дому, сказала своему Анатолию, что если он с ней зарегистрируется, то она пропишет его постоянно к себе на восемнадцать метров. Анатолий на это ей возразил, что поскольку она старше его на четырнадцать лет, то он поставит свои условия, а именно, что сына Антонины Валерика он кормить не собирается и считает выблядком с еврейской кровью.

Антонина давно догадывалась, что Валерик, возможно, родился у нее от заведующего винным отделом Марка Ильича, но уверена не была, а уточнить не могла, так как Марк Ильич отбывал срок в колонии усиленного режима за растрату и дачу взятки должностному лицу.

Лично сама Антонина к Валерику ничего не имела – ребенок не виноват, хотя цвет глаз и нос ребенка намекали на его происхождение. Под давлением Анатолия Антонина пообещала ему устроить Валерика в круглосуточный садик, но вскоре Анатолий раздумал, согласия на это не дал и сказал, что детский дом – это его последнее слово как гражданина и патриота своей страны.

Антонина трижды обращалась в райисполком и различные комиссии по делам несовершеннолетних, но ей везде указали, что это ни на что не похоже, когда мать так поступает. Антонина сутки плакала и побила Валерика, а Анатолий

велел ей поторавливаться с решением вопроса и пригрозил, что его обещала прописать дворник Полина, женщина хоть и совсем в летах, но полная и без всякого потомства.

Тогда Антонина выпила натошак «маленькую», отвела Валерика на Московский вокзал, взяла ему детский билет в один конец – до Любани, посадила в электричку, купила эскимо и сказала, что в Любани его встретит бабушка по матери Евдокия Григорьевна. Мальчик поверил родному человеку, хотя и помнил, что бабушка в прошлом году умерла в Ленинграде от паралича и лежит на кладбище, где растут цветы.

Когда поезд с Валериком ушел, Антонина вернулась домой и сказала Анатолию, что можно идти в загс. Они выпили пол-литра и еще «маленькую» за все хорошее, легли на тахту и уснули в обнимку, а Валерик в это время плакал в детской комнате милиции в Любани и никак не мог вспомнить свой домашний адрес, и только говорил, что ехал к бабушке, которая закопана в земле.

К вечеру следующего дня, а это был четверг, ребенок был все же доставлен к матери сержантом линейной милиции, но Антонина, находясь в нетрезвом состоянии, заявила, что видит этого жиденка в первый и последний раз, в то время как Валерик протягивал к ней худенькие ручки и кричал: «Мама! Мама! Это же я!»

Присутствовавший при этом Анатолий плюнул на пол, обозвал Антонину сукой и ушел навсегда к дворничихе По-

лине на ее четырнадцать метров.

По приказу милиции Антонина вынуждена была принять Валерика. Весь дом ее осуждает, а Тютинины даже с ней не здороваются, причем Марья Сидоровна при всех сказала, что когда ребенок вырастет и поймет, он не простит.

5

Наталья Ивановна Копейкина вырастила сына одна. Являясь медсестрой, всю жизнь она работала на полторы ставки и часто брала за отпуск деньгами, чтобы у мальчика все было не хуже других детей, которые растут в благополучных семьях с отцами.

Таким образом Наталья Ивановна себе во всем отказывала, десять лет ходила в одном пальто, и к сорока годам ей давали за пятьдесят и называли на улице «мамашей». Сына же звали Олегом и, когда он вырос, то получил образование и хорошую специальность шофера такси^[11]. Одевался Олег Копейкин всегда во все импортное^[12], и однажды Наталья Ивановна заметила, что сын как будто стесняется матери. Например, когда она попросила Олега сходить с ней в овощной за капустой для квашения, он сказал: я и один могу сходить. А в другой раз посмотрел на ее пальтишко и говорит: «Ты в этом балахоне на чудище огородное похожа, не следишь за собой, даже люди смеются».

Наталья Ивановна, услышав про людей, так сразу и поняла,

что сына ее забрала в руки какая-нибудь. И, действительно, буквально через два дня зашла соседка Тютиня из восьмого номера и рассказала, что видела Олега около кинотеатра «Искра» с девицей в такой юбчонке, что ни стыда, ни совести – все наружу.

Наталья Ивановна в тот же вечер строго предупредила сына, что или мать – или эта. Но для него, видно, мать была хуже не знаю кого, и он на ее слова закричал, что в таком случае уходит из дому, сложил свои вещи в два чемодана и рюкзак, сказал, что за проигрывателем и пластинками зайдет завтра, и ушел, а наутро явился вместе со своей прости-господи и, даже не поздоровавшись, сказал, чтобы Наталья Ивановна дала согласие на размен площади, не то он подаст на принудительный раздел ордера по суду.

Наталья Ивановна заплакала и напонила сыну, что растила его без отца, ничего не жалела, что пусть они с лахудрой сдадут ее лучше в дом хроников, а себе забирают всю комнату с обстановкой. Олег на это взял проигрыватель и пошел к дверям, а своей сказал, что с Натальей Ивановной хорошо вместе только дерьмо есть. Тогда Наталья Ивановна разнервничалась, подбежала и плюнула потаскухе прямо в намалеванные глаза, та заревела, села у дверей на табурет и велела Олегу убираться на четыре стороны, потому что ей не нужен мужчина, у которого мать плюется и обзывается, и, что кто предал мать, тот и с женой не посчитается.

Теперь эта девушка, ее зовут Людмилой, и Наталья Ива-

новна лежат в одной палате в больнице Коняшина. У Натальи Ивановны травма черепа, а у Людмилы сломана ключица и укус плеча.

6

Почему-то в семнадцатой квартире на четвертом этаже, как раз над Тютиными, всегда живут нерусские жильцы. Конечно, евреи евреям рознь, есть люди, а есть с позволения сказать, вроде Фрейдкиных, которые предали Родину, уехали за легкой наживой в государство Израиль. Говорили, что эти Фрейдкины вывезли десять килограммов чистого золота, и это вполне похоже, иначе зачем бы они потащили с собой своего облезлого кота Фоньку. Антонина Бодрова, хоть и сволочная баба, правдоподобно сказала, что кота, небось, полгода перед отъездом силком заставляли глотать золотые царские монеты^[13], а потом повезли, изображая, будто они такие любители живой природы.

Черт с ними, с Фрейдкиными, зато семья Кац, которую почему-то поселили в их квартиру, очень умные и культурные люди. Особенно сам Кац, Лазарь Моисеевич, кандидат технических наук. Да и жена его Фира, зубной врач-техник, — очень приличная женщина, не говоря уж о матери, Розе Львовне, которая после того, как потеряла на войне мужа, сумела воспитать сына, получить хорошую пенсию и до сих пор работает в библиотеке.

Жизнь складывается у разных людей по-разному: взять двух женщин. Наталья Ивановна, кажется, ничем не хуже Розы Львовны, а вот почему-то одной повезло с сыном, а про другую говорить – только расстраиваться. Видно и правда: евреи и сыновья, и мужья хорошие, все в дом.

После Фрейдкиных семье Кац пришлось вынести горы грязи и сделать дезинфекцию – клопов те в Израиль почему-то не взяли, наверное, там и своих достаточно.

А через неделю после дезинфекции Лазарь Моисеевич мыл во дворе свою машину «Жигули» и вдруг обратил внимание, что на скамейке сидит и смотрит на него оборванный и грязный старик с очень знакомой внешностью. Лазарь Моисеевич, не прекращая мыть, стал вспоминать, где же он встречал этого старика, но не вспомнил, а старик тем временем встал со скамейки, подошел к нему и спросил: «Это ваша машина?» Лазарь Моисеевич подтвердил, что да, но спросил старика, в чем дело. Тогда старик разрыдался как ребенок, что он как раз Кац Моисей Гиршевич 1901 года рождения, по национальности еврей, то есть родной отец Лазаря Моисеевича, якобы погибший во время войны. Правда, как потом выяснилось, «похоронки» Роза Львовна не получала, а значит, не получала никогда помощи на сына. Есть такие бестолковые женщины. Лазарь всем говорил, что еще в детстве видел письмо фронтового друга отца, где сообщалось, что рядовой Моисей Кац героически пал смертью храбрых, что буквально на глазах этого друга бесстрашного Моисея разо-

рвало вражеским снарядом на куски, и, так как вместе с ним, скорее всего, разорвало и его документы, вдове нет смысла наводить справки. Так что Лазарь Моисеевич всегда считал отца погибшим и только теперь, через тридцать с лишним лет, вдруг узнает, что, оказывается, Моисей жив и здоров и вспомнил, что у него есть сын, как две капли, кстати сказать, на него похожий. Старик собрался было броситься Лазарю на шею, но тот аккуратно отстранил его и отвернулся, хотя надо было не отворачиваться, а задать вопрос: «А где вы были, так называемый папа, когда мы с матерью сидели в Горьком в эвакуации в качестве семьи без вести пропавшего? И где вы были потом, когда мать выбивалась из сил, чтобы дать мне высшее образование? А теперь, когда я стал человеком, вы являетесь и протягиваете мне документ. Вы мне не отец, я вам – не сын, и кроме матери, у меня нет и не будет никаких родителей».

И, хотя Лазарь по бесхарактерности ничего этого старику, к сожалению, не сказал, тот все равно зарыдал еще громче и попросил, раз уж так получилось, дать ему три рубля на дорогу не то в Шапки, не то в Тосно, где он живет с детьми от второго брака, а у них зимой снегу не выпросишь. Лазарь Моисеевич дал ему два рубля, хотя по роже этого старика было ясно, что он тут же их пропьет, и намекнул забыть дорогу к этому дому и не травмировать мать.

И, действительно, хотя сам он матери ни слова не сказал, Марья Сидоровна Тютина, которая слышала весь разговор,

стоя с помойным ведром возле бака, на другой же день все сообщила Розе Львовне, слово в слово, вследствие чего Роза Львовна слегла, но теперь уже поправляется. Петр Васильевич выругал жену: зачем сказала, а та ответила: как это – «зачем»? А чтоб знала...

7

Петуховы живут на четвертом этаже в квартире № 18, рядом с семейством Кац. Еще три года назад Саня Петухов был обыкновенным молодым человеком, имел мотоцикл с коляской и в один прекрасный день привез в этой коляске из Дворца бракосочетаний жену Татьяну. А потом что-то такое случилось, куда-то его выбрали, назначили, а может, повысили, неважно, зато теперь, вместо мотоцикла, Александр Николаевич ездит на службу на черной машине^[14], и часто шофер носит за ним на четвертый этаж большую картонную коробку^[15]. Никого не касается, что в этой коробке, и потому, когда Александр Николаевич в сопровождении шофера проходит от автомобиля к лифту, никто, встретившись с ним в подъезде, естественно, глупых вопросов не задает. Зато в прошлую пятницу Антонина, которую давно бы пора лишить материнских прав, да жалко ребенка, поймав во дворе Танечку Петухову, нахально спросила: «Я вот уже который раз смотрю, ты банки из-под кофе растворимого выносишь и коробки из-под лосося в собственном жиру. Где это ты достаешь? Мне

что-то, кроме хека с бельдюгой, ничего не попадается!»

Танечка даже растерялась, но тут, на счастье, мимо проходила Роза Львовна. Роза Львовна посмотрела на Антонину и сказала, что интересоваться, Тоня, надо не пустыми консервными банками, а тем, какому делу служит человек. Александр Николаевич – большой работник, с него много спрашивается, поэтому ему и дано больше, чем нам с вами. Вы знаете, какая ответственность лежит на этих людях? Его могут в любой момент вызвать, и он будет решать вопросы...

Зря Роза Львовна связывалась с Антониной, потому что та сразу же заорала: «Воп-хо-сы! Имеет «Жигуля», так думает – и она туда же! Да вас таких – хоть бей, хоть «Жигули», все равно будете задницы лизать и улыбаться, как кошка перед сраньем! Фрейдкины, и те лучше были, уехали по-честному. И кота увезли. А вот возьмем хворостину и погоним жидов в Палестину!»

Роза Львовна, бедная, вся покраснела, руки затряслись, повернулась к Танечке за сочувствием, а та боком-боком – и в парадную. Кому охота участвовать в таком скандале, да еще когда муж занимает пост. А когда дверь за Татьяной захлопнулась, хулиганка сказала Розе Львовне, что вот, то-то и оно, а вы чего думали? Так они и за всех нас заступаются: напьются кофе растворимого с лососем, сядут в черную «Волгу» – и пошли заступаться! Зла не хватает от вашей наивности, ну пока – мне в детсад за Валеркой.

И ушла.

Дуся и Семенов, проживающие в одной квартире с Тютинными, не ответственные работники, не кандидаты наук, не грузины с рынка и не лица еврейской национальности, однако у них все есть не хуже кого, а сами простые люди: Семенов работает на производстве слесарем, Дуся там же кладовщиком.

Непьющий Семенов работает не тят-ляп, вкалывает, как надо – и сверхурочные, и по выходным за двойной тариф, и в праздники. Халтуру, понятно, тоже берет, потому что все умеет, руки есть и разряд высокий. Вообще, Семенов молодец, другого про него не скажешь: на производстве уважают, как собрание – он в президиуме, как выборы – его в райсовет депутатом, с начальником цеха – за ручку, да и сам директор всегда поздоровается: «Как дела, Семенов?» – «Да что – дела? Порядку мало». – «Это вы правы, наведем порядок, товарищ Семенов. Как там у вас с квартирой?» – «Завком решает»^[16]. – «Думаю, решат положительно, товарищ Семенов».

Так что недолго осталось Семеновым мыкаться в коммуналке.

А про Дусю сказать: как у нее на работе – ее дело, на складе многое можно взять для семьи, мыло, допустим, перчатки резиновые посуду мыть и другие мелочи, воровать Люся

не станет, они с мужем люди порядочные, оба не пьют, и Семенов на высоком счету, но смешно ведь идти в магазин за куском мыла, когда у тебя в кладовой полный ящик стоит. А дома Дуся хозяйка, каких поискать, ломовая лошадь. День и ночь она что-то моет, чистит, скребет, таскает в скупку ношенные вещи, в макулатуру – бумагу за талоны^[17]: библиотеку надо собирать для сына. Главный принцип у нее, как она сама сказала Марье Сидоровне: хоть тряпка, хоть корка – все в дело, обратите внимание – вы мусор каждый день выносите, а я – два раза в неделю. Поэтому Семеновы имеют обстановку не беднее, чем у тех же Кац: телевизор «Рубин-205»^[18], пианино, и недавно купили «Москвича» подержанного, но будьте уверены, Семенов с его руками приведет машину в такой божеский вид, которого Лазарю Моисеевичу нипочем не добиться при всех его деньгах и ученой степени кандидата технических наук.

И вот – этот случай: буквально на днях Семеновы достали для своего Славика в комиссионке письменный стол. Раньше Славик готовил уроки за обеденным, но теперь он перешел в английскую школу и неудобно. Стол купили старинный и недорогой, что говорить – Семеновы барахла не возьмут, но только зеленый материал на крышке кое-где уже обтерся и Семенов, конечно, решил подреставрировать вещь своими руками: поменять сукно, покрыть дерево лаком. Вместо зеленой Дуся купила в «Пассаже» полтора метра голубой, в цвет к обивке кресла-кровати, костюмной шерсти с синте-

тикой. В воскресенье Семенов аккуратно снял сукно – Дуся собиралась сделать из него стельки в резиновые сапоги – и обнаружила под ним заклеенный конверт.

Когда Семенов при жене вскрыл конверт, то оказалось, что в нем лежат четыре пятидесятирублевые бумажки. Кто их туда запрятал – разные могут быть предположения и варианты: прежний хозяин был старик и отложил «на черный день», родным не сказал, чтоб не отняли, а сам внезапно умер. Родные, ничего не зная, сдали стол на комиссию и наказали себя на две сотни. А может, кто по пьянке запихнул от себя самого, а, проспавшись, забыл. Много возможностей, теперь не узнаешь. Тютиным Дуся сказала, что представьте, мы могли бы еще пять лет не собратсья менять сукно, а тут вдруг раз – и реформа. Представляете? На что Семенов возразил, что этого быть не могло^[19]. И он прав. Не могло. Но самое интересное, что Семеновым этот стол вместе с перевозкой и голубым материалом обошелся в сто двадцать рублей. Представляете?

Нет, это верно: деньги идут к деньгам.

9

А у Барсукова, старого пьяницы, негодного человека, когда он спал на автовокзале в день получки, вытащили, конечно, все до последней копейки. Это сам Гришка так думает, что вытащили, а скорее всего его же собственные друж-

ки и взяли, когда распивали бормотуху где-нибудь в парадной. Потому что документы и ключи у него остались, а воры разбираться бы не стали, где деньги, а где документы с ключами. Так, например, считает Наталья Ивановна Копейкина, и с ней согласны все – и Семеновы, и Тютины, и Фира Кац. Танечка Петухова сказала, что, главное, противно, что теперь Григорий Иванович начнет звонить по квартирам и у всех клянчить деньги и одеколон, лично она не даст, а Роза Львовна, к сожалению, даст, да и Антонина тоже, эта пьяниц любит, сама такая. Что же, Танечка совершенно права, жалеть людей надо с умом и смыслом, а у такого забулдыги, как этот Барсуков, никогда не будет ни денег, ни здоровья.

10

Копейкина Наталья Ивановна после больницы стала совсем другим человеком. Во-первых, живет теперь одна, Олег после товарищеского суда^[20] у себя в автопарке сразу завербовался куда-то на Север и уехал за длинным рублем, даже мать из больницы не встретил.

Во-вторых, раньше Наталья Ивановна была полная и выглядела старше своих лет, а теперь – на французской диете, похудела, сделала укладку в салоне причесок и ходит в импортном плаще. Людмила – помните? – та самая взяла над Натальей Ивановной шефство, навещает почти ежедневно, вместе в кино, вместе – в Пушкин, в лицей, – в общем, по-

други – не разлей вода. Людмила оказалась очень и очень порядочной девушкой, раздувать дальше скандал из-за полученной травмы не стала, сама служит в автопарке диспетчером, сутки работает, три выходных, и учится в вечернем техникуме. Родители, оказывается, тоже очень культурные люди, а не, как предполагали Тютини, тунеядцы, вроде ихнего бывшего свата-профессора. Отец служит в речном пароходстве, а мать учительница. И брат в армии. А модные эти юбочки Людмила шьет сама, они ей копейки стоят, а одежда всегда, точно из телевизора вышла. Такую невестку днем с огнем не сыщешь, и Наталья Ивановна всем сказала, что Люда ей, как родная дочь, а если Олег там, на Севере, найдет какую-нибудь гулящую старше себя, Наталья Ивановна спустит ее с лестницы.

11

Было лето. Палила жара, и взрывались ливни, тяжело тащились по пыльным, засыпанным тополиным пухом улицам беременные поливальные машины, налетал ветер, то душный и жгучий, то тяжелый и мокрый, будто скрученный холодным жгутом. Давно ли из Таврического сада сладковато пахло сиренью, а потом – липовым цветом, а в начале сентября – отцветающими флоксами? Но вот запах флоксов сменился запахом прелых листьев и мокрой земли, выше и отчужденное стало небо, природа, летом нахлынувшая на го-

род всеми своими красками, звуками и запахами, теперь отступила. Как отлив, ушла далеко за окраины и будет существовать там до весны отдельно и замкнуто, когда в пустых лесах сыплются с деревьев и летят день за днем сухие листья. Наступает ночь, а листья все равно падают, шуршат в глухой темноте, а потом принимается дождь, суровый, бескомпромиссный, и сутками хлещет по окоченевшим стволам и сутулым черным корягам.

...Ноябрь. Самое городское время. Господствуют только камни домов и парапетов, решетки оград, высокомерные памятники и колонны. Прямые линии, треугольники, правильные окружности, черно-белые тона. Торжество геометрии.

Ноябрь. Прошли праздники.

Ноябрь. Александр Петухов гостит в далекой дружественной Болгарии^[21] у все еще теплого Черного моря, где расхаживают по солнечному берегу громадные серебристые чайки и прогуливаются западные туристы в белых брюках и кожаных в талию пиджаках.

Ноябрь. Темное утро. Дождь со снегом. В доме около Таврического сада все еще спят, ни одно окно не горит.

Антонина во сне пытается натянуть одеяло на остренькие плечи чернявого Валерика – кашлял с вечера, вот и положила вместе с собой.

Наталья Ивановна Копейкина всхлипывает, потому что видит странный сон, будто вернулся беглый сын ее Олег и стоит в дверях почему-то босой и без шапки, а пальто все

мокрое, аж вода течет на натертый пол.

Роза Львовна Кац тоже плачет во сне, плачет тихо, с удовольствием, кого-то прощает за все свое вдовье одиночество, за чертову жизнь эвакуированной с ребенком и без аттестата^[22] у прижимистой Пани в Горьком, за то, что теперь уже старуха, а, если вдуматься, что она видела в жизни? Завтра Роза Львовна и не вспомнит, что видела во сне, встанет в хорошем настроении и по дороге к себе в библиотеку сочинит стихи для стенгазеты: «...но было то не по нутру злому недругу-врагу, и задумал он войной разрушить мир наш и покой». Лазарь, конечно, опять начнет смеяться, так ему ведь все смешно – такой человек.

Весь дом спит. Кроме Григория Барсукова. Тот лежит в темной комнате, таращится в пустоту, думает. Как ему уснуть, когда он один в городе, да что – в городе, может, в целом мире, знает то, что никому еще пока узнать не дано.

Все мы, безусловно, правы: нет у бедняги Барсукова ни денег, ни здоровья. А вот насчет ума – это, уважаемые, извините-подвиньтесь со своими дипломами и кандидатскими степенями, это еще поглядим. Потому что, если бы кто-нибудь из нас с вами обнаружил такое, то, возможно, не только бы запил, а сбежал бы прочь, в другое место. Или руки на себя наложил со страху.

Часть вторая

Треугольник Барсукова

1

Этот треугольник расположен в центре города, а именно на Сенной площади под названием площадь Мира. Вершина его приходится как раз на специализированный рыбный магазин «Океан»^[23], где каждое утро толкуются доверчивые любители селедки, не ведающие, где они стоят. Другие углы такие: здание станции метро, воздвигнутое на месте упраздненной с лица земли церкви Успения Пресвятой Богородицы^[24], – раз, и автобусный вокзал^[25] – два. Там еще летом, наверное помните? – у Барсукова будто бы пропала вся получка до последнего рубля. Но только по наивности можно предположить вот это, первое попавшееся: что деньги были пропиты либо украдены. Только по наивности! И теперь Барсуков это знал.

Никто из нас с вами, слава Богу, не был и, будем надеяться, не окажется в Бермудском треугольнике, в этой мутной части Атлантики, где согласно источникам гибнут без вести, начисто пропадают среди ясного дня самолеты, где слепо дрейфуют покинутые мертвые суда, причем никто не знает, куда девались с них люди. Как-то на одном из таких

судов была обнаружена воющая собака, но – что собака, она ведь только понимает, а сказать не может, а вот, кто мог сказать, то есть говорящий попугай – тоже пропал совершенно бесследно.

Бермудский треугольник, по счастью, от нас далеко, тысячи миль до него и десятки надежных границ, и поэтому нам на него наплевать, он для нас вроде бабы Яги или как космические пришельцы, про которых мы ничего не знаем^[26].

Нам и без Бермудского треугольника есть чего бояться: войны с Китаем^[27], тяжелой продолжительной болезни, бандитов, отпущенных по амнистии, своего непосредственного начальника и еще кого-то неведомого, кто не ест и не спит, а денно и ночью дежурит у нашего телефонного провода^[28], чтобы узнать, что же мы говорим о погоде.

А ведь наверняка те, кто живут рядом с Бермудским треугольником или имеют с ним дело по работе, тоже боятся войны с Китаем и бешеных собак, а также своих бермудских гангстеров и начальников. И, уж конечно, рака. А про истории с самолетами и кораблями думают редко и неохотно.

Барсукову же и думать было нечего, чего тут думать, тут не думать надо, а меры принимать, и потому Григорий Барсуков, человек, за пятьдесят лет свой жизни поменявший столько мест работы, что уже из-за одного этого плюс внешний вид мог считаться «бомжем и з», то есть лицом без определенного места жительства и занятий, так вот этот субъект ранним ноябрьским утром подстерег во дворе кандидата

технических наук Лазаря Каца и обратился к нему с антинаучным заявлением. Он сообщил Кацу, что на Сенной площади Мира якобы безвозвратно пропадают вещи и деньги, люди и даже автомобили с шоферами, и, что лично он, Барсуков, был свидетелем этого явления многократно.

– Могу привести ряд примеров, – заявил Барсуков.

– Приведите, прошу вас, – поощрил его Кац, который потому и стал кандидатом наук, что всю жизнь отличался любовью к явлениям природы. – Приведите, приведите, – повторил он и вынул из кармана пачку сигарет, но, взглянув на свои окна, тотчас спрятал ее обратно и предложил Григорию Ивановичу лучше прогуляться через сад.

Небо над Таврическим садом сплошь было залеплено толстыми и белесыми тучами. Из разрывов этих туч нет-нет, да и выскакивало солнце, ошалело плюхалось в пруд, секунду трепыхалось в холодной воде, как блесна, и тут же исчезало.

– ...и равнодушная природа красою вечною сиять, – вдруг ни с того ни с сего назидательно сказал Барсуков и твердо посмотрел в глаза Лазарю Моисеевичу. Тот, являясь человеком тактичным, никакого недоумения не проявил, как будто так оно и следует, что необразованный «бомж и з» цитирует бессмертные строки.

– Красою. Вечною! – злобно настаивал Барсуков и, когда Лазарь наконец кивнул, добавил: – Природа вечна, а человек в ней ничто. Сегодня он есть, а завтра нету.

– Люди, безусловно, смертны, – согласился Кац.

Барсуков посмотрел на него с жалостью, махнул рукой, снял с головы кепочку и принялся яростно трясти ее, точно ботинок, в который набрался песок. Ничего не вытряс и деловито сказал:

– Привожу примеры исчезновения людей и предметов: сорок рублей восемьдесят четыре копейки, принадлежавшие лично мне. Так? Теперь: Виталий Матвеевич, старик...

– Какой Виталий Матвеевич? – спросил дотошный Кац.

– Какой он был, точно не знаю, – задумчиво ответил Барсуков, – но, полагаю, дерьмо... А как исчез – это видел сам: в прошлую среду около автовокзала попросил рубль, я ему: только, мол, трешка, он взял, говорит: ничего, разменяю. Пошел к ларьку, через улицу шел, я видел, а потом вылез трамвай – и с концами. Пропал человек.

– Ясно, – сказал Кац. – Еще какие были явления?

– Еще явление с синей машиной. Пустая, без людей, с горящими фарами днем.

– Стояла?

– Ага. Хрен тебе в зубы. Прямо с Московского по середине площади как вжарит. И на Садовую. Милиционер еще свистел.

– Я думаю, – сказал Кац, закуривая, – что все это просто цепь совпадений.

– Тебе хорошо, – Барсуков снова тряс свою кепку, – тебе хорошо – ты дурак...

Он пожал руку ошеломленного Лазаря, который тут уж не

сумел захлопнуть рта, и удалился величественной походкой человека, который знает, что ему делать. А кандидат технических наук долго еще стоял на пустой аллее у пруда с глупым выражением на интеллигентном лице.

Вечером того же дня, когда семья Кац сидела за чаем, а по телевизору показывали фигурное катание, раздался телефонный звонок.

– Лелик, тебя, – позвала Лазаря мать. – Ты бы все-таки объяснил им, что беспокоить человека после работы – не дело.

– Олег, может быть, я подойду? – сказала Фира. – А ты ушел и будешь поздно. Ага?

– Во-первых, я просил больше не называть меня Олегом...

– Ах, прости, пожалуйста, забыла о твоём гражданском мужестве в кругу семьи, – сразу же надулась Фира, – между прочим, пока ты тут произносишь декларации о правах человека, человек ждет.

Человек, действительно, терпеливо ждал, хотя времени, как потом выяснится, у него было в обрез.

– Алло, – раздался далекий голос Барсукова, когда Лазарь наконец подошел к телефону. – Алло! Слушайте и записывайте для науки. Говорит Барсуков из треугольника. Я гибну. Сос. Местоположения в пространстве определить не могу. Сколько времени – тоже не знаю. Выхода отсюда нету и мгла.

– Где вы? Какая мгла? – Закричал Лазарь, глядя в окно,

где с ясного черного неба иронически смотрели звезды.

– Мгла обыкновенная. Сплошная. Бело-зеленая. Видимости никакой. Гибну.

– Вы не пьяны? Слышите, Григорий Иванович, я спрашиваю – вы пьяны?

– В самую меру. Записывайте для науки: «Барсуков Григорий вышел из метро в 19.03...» – голос становился все глуше и гас, точно «бомжа и з» уносило куда-то прочь от земли.

– Темно и выхода нет. Гибну смертью храбрых во славу... – это были последние слова, услышанные Лазарем.

– Барсуков! Барсуков! – кричал он в опустевшую трубку. Ни звука.

Никто, ни один человек на Земле, никогда больше не видел Григория Ивановича Барсукова.

2

После возвращения из Болгарии Александр Николаевич Петухов начал задумываться. А задумавшись, замирает на кухне с горящей спичкой в руке или чашку с черным кофе поднесет ко рту, а пить забудет. И Танечка, видя все это, очень переживала. Как-то раз зашла к соседке Марье Сидоровне за рецептом печенья на майонезе и вдруг внезапно и неожиданно расплакалась. Получилось это совсем некстати, Марья Сидоровна была не одна и к тому же больная. У нее сидели Дуся Семенова и Наталья Ивановна, так что слезы

Танечки, хоть она и объяснила их зубной болью, конечно, стали обсуждаться.

– Гуляет он, – сказала Дуся про Петухова, как только Танечка ушла, – а чего не гулять? Ездит по Европам за казенный счет, кожаный пиджак себе купил.

– Татьяне тоже замшевую юбку привез, – вступилась справедливая Наталья Ивановна.

– Гуляет, это точно, – несмотря на юбку, стояла на своем Семенова, – вчера смотрю: идет домой в восьмом часу вместо шести, глазки, как у кота, так и глядит туда-сюда, туда-сюда. А как увидит Кац Фирочку, так уж вообще... Вчера вышагивают через двор, он ее сумочку несет.

– Фира интересная, – согласилась Наталья Ивановна, – полная и одевается.

– Это верно, жить они умеют, этого от них не отнимешь. Марья Сидоровна, корвалольчику еще накапать?

– Не надо, – тихо сказала Тютинна. И все замолчали.

У Марьи Сидоровны было свое горе, и все из-за мужа. Конечно, старик Тютин кожаных пиджаков сроду не носил и глазами не зыркал, зато последнее время все его разговоры непременно сводились к близкой смерти, даже про бывшего зятя что-то стал забывать. То начнет распоряжаться, как поступить после похорон с его старым костюмом (слава Богу, еще Марье Сидоровне удалось уговорить его надеть в гроб выходной серый, а то заладил: синий да синий, а серый импортный, дескать, в комиссионку, ну не срам?), то решает во-

прос, съезжаться ли Марье Сидоровне с дочерью и внуками, и приходит к выводу, что – не сметь! Анна выскочит замуж за какого-нибудь прощелыгу, а мать окажется без своего угла. Марья Сидоровна ему и так, и сяк: «Петя! Зачем, скажи, эти разговоры? Травмировать меня? Поднимать давление?»

А он опять:

– Окончание жизни – это финал. Смерть тебя не спросит, когда ей прийти. Вон, Барсуков: был и нету.

Она ему:

– Так Барсуков же пьяница! Неизвестно, куда девался, может, в тюрьме сидит, может, в психбольнице на принудительном лечении.

– Это брось! Гришку искала милиция, они дело знают. Нигде не нашла, и комнату опечатали, а ты – «неизвестно»! Если неизвестно, закон опечатать не даст. Нет Барсукова. И меня не будет, – твердит Тютин, а сегодня и вообще заявил, что настоятельно желает, чтобы на его похоронах обошлись без рыданий и кислых слов, потому что в таком возрасте смерть – дело житейское, вполне естественное и даже нужное, вроде свадьбы, например, или проводов в армию на действительную службу.

– У гроба моего завещаю петь песни, – велел он жене.

– Какие? – шепотом спросила Марья Сидоровна и присела на диван.

Петр Васильевич долго думал, глядел в окно, потом сказал:

– Солдатские. Поняла, мать? Я – ветеран. Солдатские песни, запомни.

– Господи помилуй! – заплакала Марья Сидоровна, – Дай ты мне, Христа ради, первой помереть!

Тютин плюнул, покачал головой и отправился в киоск покупать «Неделю», а Марье Сидоровне пришлось звать Дусю, не могла уже сама накапать лекарство – руки тряслись.

Так что вполне понятно – не до Танечки Петуховой было в тот день Марье Сидоровне Тютиной.

К сожалению, и Петухову было теперь не до жены. Уже две недели прошло после возвращения его из Болгарии на родную землю, а он, как был в первый день не в себе, так и остался.

Точно яркие цветные слайды вспыхивали в его мозгу разные картины: ночной бар, тихая музыка, притушенный свет, сигареты «Честерфилд», коктейль «Мартини», элегантный бармен – друг, не лакей и не хам – нагнулся к Петухову, щелкает американской зажигалкой: курите. Холл отеля «Амбассадор» на международном курорте «Златы Пясцы», где Александр Николаевич прожил три последних дня своей первой заграничной поездки, – так было предусмотрено программой: после заседаний, встреч и приемов – отдых у моря. Здание казино, вдоль которого всю ночь стоит вереница машин. И каких! Мерседесы, шевроле, фольксвагены, тойоты, форды... Огни, огни, огни... Толпа западных людей в зале казино около игровых автоматов – это рулетка такая, на-

зывается «Однорукий бандит». Петухов сам был свидетелем, как какой-то джентльмен с бешеными глазами и голубыми ввалившимися щеками бросил в щель «бандита» серебряный жетон, дернул ручку – и целая груда этих жетонов со звоном высыпалась в лоток. А мистер Петухов, профсоюзная шишка, в только что купленном черном кожаном пиджаке и белых брюках, в одном кармане которых лежали американские сигареты, а в другом турецкая жевательная резинка, он, причесанный на косоу прическу в лучшем салоне Варны, он, к которому здесь, за границей, все обращались только по-немецки, мямля в углу, не смея подойти к автомату, поминутно оглядываясь на дверь: не войдет ли Павлов, руководитель их группы^[29]. А уж о том, чтобы самому сыграть в рулетку, и речи быть не могло. А почему? И ведь им, павловым, все равно, – что Петухов, человек с высшим профсоюзным образованием, знающий два языка со словарем, что это быдло из их так называемой делегации, жлобы, уроженцы города Саратова или какого-нибудь Минска, которые в варьете, в варьете! – только и выжидали, когда замолчит наконец оркестр, чтобы грянуть свои «Подмосковные вечера»^[30]. Зачем их возят по заграницам, позорище одно! И изволь сидеть с ними у всех на виду в ресторане, среди немислимых двубортных пиджаков или жутких синтетических платьев с блестками! Изволь улыбаться, пить за то, что хороша, дескать, страна Болгария, а Россия лучше всех^[31]. Ну и сидели бы в своей России, в грязи и серости по уши! Так нет – им

подавай Европу, а ты, как дурак, веселись тут с ними, лови на себе презрительные взгляды западных немцев, сидящих напротив. Немцы, кстати, и сидят иначе, и сигарету держат как-то красиво, и лица у всех культурные. Ведь вот – выпили, а никто не красный, не потный, не орет и руками не машет.

И, главное, не встанешь, не закричишь: «Товарищи!» то есть, конечно: «Господа! Я не такой, как эти! Я все понимаю, мне смешно и противно смотреть на них, так же, как и вам! Это, ей-богу, не я покупаю в аптеке медицинский спирт и напиваюсь, как свинья, у себя в номере, а потом начинаю горланить на весь отель! Не я с утра до вечера дуюсь в холле в подкидного дурака! Не я под джазовую музыку пляшу в ресторане «цыганочку» или топчусь в медленном танго, как допотопный сервант. Не я это! Не я!»

Тонко улыбаются нарядные западные люди, кажется, если бы можно, вынули бы сейчас фотоаппараты и кинокамеры, запечатлели бы на память дикарей. Но – нельзя, неприлично.

А наши и понятия-то такого не имеют – «неприлично», им все прилично, вопят на весь зал, плятятся по сторонам и еще шуточки отпускают – у нас, мол, танцуют лучше и одеваются наряднее. Кретины! Неандертальцы! Толпа!

Так они сводили его с ума там, в Болгарии. А теперь – вот она Родина. Родина – мать. Перемать. Россия, сплошь состоящая из них, из этих...

На второй день после приезда зашел днем в «Север» победать^[32], и сразу: «Глаза есть? Не видите – стол не убран?

Ах, видите. Так чего садитесь?.. Мест нет? А у нас – людей нет. Вы к нам работать пойдете?» Сервис!

Можно было, конечно, показать ей кузькину мать, чтобы знала, с кем имеет дело, хамка, да связываться противно, тем более, был не один, с начальством. Еще, слава богу, ему, Петухову, теперь не нужно стоять по очередям за продуктами, на дом возят...

...Ах, скажите пожалуйста: на дом! Благодетели. Купили за банку паршивого кофе! Да если уж на то пошло, насрать ему на их растворимый кофе и лососину! Да и на икру, если на то пошло! Не хлебом единым! Орут везде, что у нас – права человека, а в городе ни одного ночного бара. Только на валюту^[33], на доллары. В занюханной Болгарии, тоже мне еще – Запад, сколько угодно этих баров! И девочки! Только не для нашего брата девочки, для нашего брата – руководитель Павлов, он тебя и...

...Болгария... А где-то есть еще и Париж. Есть и Швейцария. И Штаты...

В гробу я видал ваш вонючий кофе!

– Сашенька, почему так поздно? – робко спросила Таня, когда Петухов в третий раз явился домой в половине восьмого.

– Автобус сломался, – с горделивой скорбью отрезал он.

– Автобус? Почему – автобус? А где Василий Ильич?

– А пускай твой Василий Ильич другую жопу возит! Ясно?! – заорал Петухов. – Сдалась мне их поганая «Волга»!

И пайков больше не будет, поняла? Попили кофеев, хватит! Обойдешься чаем «Краснодарским» сорт второй^[34] и городской колбасой^[35]!

– Что случилось, Саша? У тебя неприятности? – Танечка уже плакала.

– Приведи в порядок лицо! – завизжал Петухов. – Не женщина, а чучело! Плевал я! Принципы надо иметь! Дешево купить хотите, граждане-товарищи!

Долго еще бушевал Александр Николаевич, хлопая дверью, выкрикивал лозунги о демократических свободах, о том, что никому не позволит душить и попирать. Потом улегся на диван с транзистором и на всю квартиру включил «Голос Америки»^[36].

3

В середине декабря месяца Наталья Ивановна Копейкина случайно узнала, что в субботу в магазине «Океан» с утра будут давать баночную селедку. Новый год был уже вот-вот, и поэтому Наталья Ивановна с Дусей Семеновой и недавно прощенной Тоней Бодровой за час до открытия отправились занимать очередь. Марья Сидоровна, которой тоже предложили, сказала, что ей не до селедки, плохо себя чувствует, и женщины решили взять две банки и разделить: полбанки Тютиным, они старые люди, надо помочь, и полбанки Дусе. Антонине хорошая селедка очень бы кстати, так как Анато-

лий все же обещал первого зайти. Это надо: с лета ни разу не вспомнил, а тут... нет слов, одни буквы. А Валерку тогда заберут к себе с ночевкой Семеновы.

Селедку, действительно, отпускали, очередь шла быстро, так что к десяти часам все трое, довольные, стояли с банками на трамвайной остановке напротив метро «Площадь Мира». Погода была ясная, светило солнце.

Трамваи не шли, на остановке собралась огромная толпа, говорили: кто-то должен проехать из аэропорта, не то король, не то кто из наших, и движение перекрыто. Минут через десять появилась милицейская машина, принялась кричать в мегафон, загнала всех на тротуар, давка началась невероятная. И в этой давке Антонина внезапно почувствовала, что в глазах у нее темнеет, ноги отнимаются, кругом зеленая мгла, как с хорошей поддачи, и, что она не соображает, где находится и зачем.

Сколько времени продолжалось такое состояние, Антонина никогда потом сказать не могла, но, когда очнулась, увидела, что сидит на скамейке около автобусного вокзала, а рядом с ней сидят и Наталья Ивановна, и Дуся, обе бледные, не в себе и без сумок.

– Чего со мной? – спросила Антонина слабым голосом, но ей не ответили. Как выяснилось, ответить ей и не могли, потому что ни Семенова, ни Копейкина не знали, что и с ними-то произошло, как, например, попали они с остановки на эту скамейку, а главное, где их сумки с деньгами и банки

с селедками. Обе они, как и Антонина, оказывается, видели только зеленую мглу и туман среди ясного дня.

– Несомненно – вредительство, – предположила Наталья Ивановна, и женщины с ней согласились.

Посидев с полчаса, придя в себя и переговорив, они решили все же ничего никому не рассказывать, все равно не поверят и еще засмеют, а деньги, которые дала им на селедку Тютин, собрать между собой и вернуть. Про банки же сказать, что их не давали, а была мороженая треска с головами.

4

А ведь и верно: совсем скоро Новый год. Кажется, только что прошли ноябрьские, а через неделю опять праздник. Все скоро в этой жизни, так что и уследить не успеешь.

Петр Васильевич Тютин праздник Новый год любил и всякий раз радовался: смотри, пожалуйста, опять дожил – и ничего, сам, вон, с Некрасовского рынка (придумал какой-то болван назвать рынок именем великого писателя!) – с Мальцевского рынка елку приволок. Приволок, украсил, подарки разложил, а как же – придут внуки, Даниил и Тимофей.

Нравился Петру Васильевичу Новый год, а все-таки главными праздниками у него были другие. День Советской Армии и самый важный – это, конечно, Праздник Победы. Новый год – больше для внуков, для жены с дочерью, а это – собственные его.

В эти дни Петр Васильевич надевал на серый костюм орден Красной Звезды и Отечественной второй степени, прикалывал медали и шел к Петру Самохину, тезке, другу и однополчанину. У Самохина была большая квартира, и это уж, как говорится, создалась такая хорошая традиция – по праздникам собираться у него. Приходили ребята без жен, выпивали умеренно, пели, вспоминали. И если кто в десятый раз принимался рассказывать один и тот же случай, никогда не одергивали и не поправляли, мол, не так было, путаешь, старый хрен; этого у всех дома хватало, наслушались от родных деток, которым, что ни скажи – в глазах тоска – скоро ли он кончит, надоел, все одно и то же, да одно и то же. А товарищи, те и послушают, а если у кого слезы, дело-то стариковское, не заметят, виду не подадут, а не то, что сразу охать да бегать с валидолами. Одно слово: мужская дружба фронтовиков.

Интересное дело, сколько времени прошло после войны, больше двадцати лет Тютин отработал на заводе мастером, на отдых вышел, как полагается, с почестями, никто не гнал, сам захотел, и друзья были, а вот, пожалуйста, остались от этих заводских друзей только поздравительные открытки к календарным датам. И от завкома – открытки, и от партбюро. А эти парни, с которыми в войну самое большее три года вместе был, да что – три года, некоторых и года не знал, – эти мужики до самой, видно, смерти, до последнего дня. Почему так?

Встречи с фронтовыми товарищами считал теперь Петр Васильевич единственным и главным делом своей жизни, только с ними, с ребятами, чувствовал, кто он такой, что сделал, какие дороги прошел, потому что личное – это личное, это для женщин, а мужчина для другого живет. Но все меньше, с каждым разом меньше народу собиралось у Петьки Самохина на праздники. В прошлый день Победы только трое пришли, остальные – кто болел... Встречались вообще-то в последнее время довольно часто, но те встречи были далеко не праздничные, да и какие это встречи, это проводы...

Так что не от злобы или плохого характера, не от жестокости Петр Васильевич мучил жену похоронными разговорами, а потому что видел: подходит время, и смерть представлялась ему последним заданием, которое скромно и с достоинством предстоит ему выполнить на земле. А только дурак полагает, будто умереть можно кое-как и безответственно. Пускай, дескать, родственники беспокоятся и хлопочут, а мне что – лег себе в гроб, руки крест-накрест и спи, дорогой товарищ.

Петр Васильевич не даром был ветераном и солдатом, он, может, потому и войну без ранений прошел, с одной контузией, что все умел и привык делать, как следует, хоть окоп вырыть, хоть автомат смазать. А теперь – это тебе не окоп, тут надо решить ряд важных вопросов: материальное обеспечение жены, то есть, конечно, вдовы, распорядок ее дальнейшей жизни, организация похорон. Естественно, и в этих

делах не на родственников рассчитывал Тютин, а на боевых товарищей, знал, что помогут Марье Сидоровне и внуков не оставят, но надо же и самому руки приложить. Как раз сегодня утром он принялся составлять список: фамилии и адреса тех, кого обязательно надо пригласить, чтобы проводили его в последний путь, но жена, увидев этот список, ударилась в такой рев, дура старая, что Тютин разозлился, скомкал бумагу, сунул в карман и ушел, хлопнув дверью, в сад на прогулку. Вот ведь, ей-богу, бабий ум! Курица и курица. Будет потом метаться, кудахтать, кого позвать, как сообщить, где найти. Самой же приятно: пришли проститься с мужем хорошие люди, никто не побрезговал, вот, пожалуйста, фронтовые друзья, а это – рабочий класс, товарищи, ученики – смена, то есть. А тут – руководство... Ладно... Допишет он свой список потом, без нее, Допишет и спрячет в стол, в тот ящик, где ордена и документы. Понадобятся когда ордена, начнет искать, найдет и список.

...Петр Васильевич Тютин шел себе воскресным утром в валенках по узкой дорожке среди сугробов, смотрел на белые патлатые деревья, на простецкое, светленькое небо, на глупую мордастую снежную бабу с палочкой от мороженого вместо носа, шуршал в кармане мятым списком, думал, и вдруг так расхотелось ему помирать, так стало страшно и неохота провалиться из этого уютного обжитого мира куда-то во тьму, где наверняка ничего хорошего нету, что вытащил он скомканную бумажку с фамилиями, торопясь, бро-

сил в мусорную урну и, как мог быстро, подволакивая ноги, – чертовы валенки по пуду весят! – пошел прочь. Надо еще конфет купить, а то в магазинах уже завтра будут очереди – жуткое дело.

5

В ночь под Новый год Фира сказала мужу, что она его больше не любит. Это же надо еще суметь – выбрать такой день для подобного разговора! Вообще-то Лазарь уже давно, с месяц, наверное, чувствовал: что-то не то. Фира постоянно где-то задерживалась, у нее невесть откуда завелось огромное количество дел, а так бывает всегда, когда человеку плохо у себя дома. Все ее раздражало и выводило из себя, а особенно, почему-то, невинная просьба Лазаря не звать его больше никакими Олежками, Леликами и Ляликами. Раньше и внимания бы не обратила, может быть, даже с уважением бы отнеслась, а теперь:

– Ах, Лазарь? Понимаю... Это у тебя такая форма протеста. Мол, ничего не скрываю и даже горжусь. Очень, о-очень смело, ты у нас прямо какой-то Жанна д'Арк.

– Ты чего это?

– Потому что противно! Кукиш в кармане. Герой – борец за идею. Ты бы еще магендовид надел.

– Надо будет – и надену, вон, датский король с королевой, когда немцы...

– Слышала. Ты мне про этот случай рассказывал раза три... позволь, четыре раза. Но ты, к сожалению не король, тебе ничего надевать не надо, у тебя, как говорится, факт на лице.

– Я не понимаю, – вконец растерялся Лазарь, – ты что, антисемиткой сделалась?

– Просто, миленький, дешевки не люблю. Лазарь ты? Великолепно! Гордишься своим еврейством? Bravo- bravo- бис! Не нравится, когда кривят рожу на твой пятый пункт? Противно, что любой скобарь в трамвае может, если пожелает, обозвать жидовской мордой, и ничего ему за это не будет? И мне, представь, противно. Только причем же здесь «Лазарь»? Будь последовательным. Уезжай!

– Ты что это, Фирка, обалдела?

– Испугался. Вот она, цена твоего гражданского мужества.

– Подожди, ты что, серьезно?

– Я-то серьезно, я о-очень даже серьезно, а вот ты со своими твяканьем из подворотни, с вечным «я бы в морду...».

– Ты действительно хочешь уехать? В Израиль?

– А это уже второй вопрос: куда? Важно, что отсюда. Ясно?

– Ладно, Фира, давай поговорим... хотя я не представляю себе, чтоб ты... У тебя что-то случилось?

– Ну, знаешь, это уж вообще! «Случилось»! А у тебя ничего не случилось, ни разу, Лелик, то есть, тьфу! Лазарь Моисеевич? Это не тебя ли как-то не приняли на филфак с зо-

лотой медалью^[37]? И не ты ли тут вечно рвешь и мечешь, когда твой доклад читает на каком-нибудь симпозиуме в Лондоне ариец с партийным билетом^[38]?

– Тише ты.

– Тише?! Вот-вот. Надоело! Их – по морде, а они – тише! Чего ж не врезать? Да брось ты сигарету, мать увидит, будет орать!

– Не увидит. А меня ты напрасно агитируешь, я тебе могу привести и не такие примеры.

– Ну так что ж?

– А... таки плохо. Как в том анекдоте. Плохо, Фирочка. И все-таки я не уеду.

– Боишься? Мол, подам заявление, с работы выгонят, а разрешения не дадут^[39]. Так?

– Если уж честно, – и это. Но не во-первых, даже не во-вторых. А во-первых то, что здесь, видишь ли, моя родина. Мелочь, конечно.

– Родина-мать?

– Да, уж как тебе угодно: мать, мачеха, тетя, а только – родина, и никуда от этого не деться.

– Какая там тетя? Какое отношение имеешь к России ты, Лазарь Моисеевич, еврей, место рождения – черта оседлости? Нужен ты ей, со своей сыновней любовью, как Тоньке Бодровой ее незаконный Валерик!

– Это черт знает что! Мне дико, что это мы, ты и я, ведем такой разговор. Лично я не верю в генетическую любовь

к земле предков, может быть, потому не верю, что сам ее не чувствую. Конечно, кто чувствует, пускай едет, всех ему благ...

– ...А тебе и здесь хорошо.

– Нет. Не хорошо. Но боюсь, что лучше нигде не будет. И – почему такой издевательский тон? Неужели я должен объяснять тебе, что я тут вырос, что я, прости за пошлость, люблю русскую землю, русскую литературу, а еврейской просто не знаю. Кто там у вас главный еврейский классик?

– У нас? Ну вот, что, – Фира стояла посреди комнаты, сложив руки на груди, – мне этот разговор противен. И ты сам, прости, пожалуйста, тоже. Это психология раба и труса.

– А катись ты... знаешь куда! – разозлился Лазарь, – подумаешь, диссидентка! Противен – и иди себе, держать не стану!

Фира тут же оделась и ушла на весь вечер. Может быть, у нее на работе завелся какой-нибудь сионист? Их теперь полно, героев с комплексом неполноценности и длинными языками.

Лазарь долго стоял на кухне у окна и курил в форточку. Наконец он решил, что, скорее всего, Фирку кто-нибудь обругал в автобусе или в магазине, у нее-то внешность – клейма негде ставить, прямо Рахиль какая-то. Конечно противно! Только нет из этого положения выхода, как она, глупая, не понимает? Евреям всегда было плохо и должно быть плохо.

«Успокойся, тогда и поговорим», – решил Лазарь.

Но Фира не успокоилась. И вот в новогоднюю ночь, сидя за накрытым столом, она при свекрови официально заявила мужу, что намерена с ним развестись из-за несходства характеров и политических убеждений.

Роза Львовна сразу сказала, что у нее болит голова, и она идет спать. А Лазарь выслушал следующее:

– Это счастье, что у нас нет детей, хотя я знаю, что вы с матерью за глаза всегда меня за это осуждали. Развод мне нужен немедленно. Мы с тобой чужие люди. Слабых не ругают, их жалеют, но мне жалости недостаточно, мне для того, чтобы жить с человеком, нужно еще и уважение, а его нет.

Тут Лазарь тихо спросил:

– Ты меня больше не любишь? У тебя кто-то другой?

– Не люблю, – отрезала Фира, – а есть другой, или нету – в этом случае, какая разница? Твоя приспособленческая позиция мне не подходит. Я считаю: кто не хочет ехать домой, тот пусть идет работать в ГБ!

– Можно утром? А то сейчас ГБ, наверно, закрыто, – спросил Лазарь, машинально откусывая от куриной ноги.

– Вытри подбородок, он у тебя в жиру, – с отвращением сказала Фира. – Я ухожу. Возьму пока самое необходимое.

Она вышла из-за стола, и через пять минут Лазарь услышал, как хлопнула дверь – видно, самое необходимое было собрано заблаговременно.

Лазарь подвинул к себе фужер с недопитым шампанским, налил туда водки и медленно, не чувствуя вкуса, выпил. Вы-

пил, вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на часы.

«Полвторого. Куда она? Впрочем, транспорт работает всю ночь».

6

Бодрова Тоня Новый год, почитай, и не встретила: забегала в одиннадцать часов к Семеновым, посидела, поздравила всех с наступающим, оставила Валерку, как договаривались, до второго, – и домой. Дуся: останься да останься, а Антонине ну, ей-богу, неохота, не почему-либо, а такое настроение, решила спать лечь не поздно, чтобы утром выглядеть, как человек. Потому что Анатолий точно сказал: зайду первого днем. Ему вообще-то верить не больно можно, бывало и раньше, обещает: жди, а сам не явится, но в этот раз другое дело, в этот раз чего ему врать, как ушел тогда, еще в августе, она за ним не бегала, не звала, хотя и знала: с Полиной живут плохо – пьянка каждый день, а после пьянки – драка.

Тридцатого вечером встретились в булочной, Антонина сделала вид, будто не признала, отвернулась, берет «городскую»^[40], а руки, как не свои, уронила булку на пол, пришлось платить – кассирша там вредная, разорется, а булка вся в грязи. Только вышла на улицу, Анатолий тут как тут, за ней.

– Гражданочка, извиняюсь, не знаете, сколько время?

Больше четырех месяцев Антонина каждый день, да не по одному разу, все представляла себе, как это будет, как они увидятся, и решила вести себя не грубо, но так, чтоб он понял – гордость и у нее есть. И, если она тогда выла, как ненормальная, и чуть не за ноги его хватала, только чтоб не уходил, то теперь с этим уже все, и перед ним, как говорят, другой человек. Пусть подозревает, что у нее кто-то есть, пусть не думает.

Но получилось по-другому. Про гордость она забыла, стала болтать какие-то глупости, мол, как живешь, а он – нерегулярно, – говорит. – Что же нерегулярно-то? У тебя жена молодая. А он: – Во-первых, она мне жена только для прописки, а во-вторых, ты на ее рожу погляди, одно слово сзади пионерка, спереди пенсионерка. Антонине бы сказать, что некрасиво так – о женщине, а она наоборот: лицо, – говорит, – можно и полотенцем прикрыть, а дальше такое сказала, что и вспоминать неудобно. Главное, говорит, сама чувствует – не то, не так надо с ним разговаривать, а остановиться не может, вот и верно, что язык без костей. А Анатолию, кобелю, нравится, хохочет, доволен, боялся, небось, что Антонина будет скандалить, а чего ей скандалить, хотела бы, еще летом морду бы Полине начистила, далеко ходить не надо, в одном дворе живут.

Что-то еще говорил Анатолий – хорошо, дескать, выглядеть стала, поправилась, Антонина, вроде бы, отвечала, что

надо, а сама только думала – сейчас ведь уйдет, вот сейчас – попросается и все, и опять только жди, да гляди в окно – не идет ли мимо, и опять жди, и ночи эти проклятые, когда такое, бывает, приснится, что утром вспомнишь, и в жар кидает.

А он вдруг: чего же на Новый год не приглашаешь?

– Так ведь, Толя, Новый год – семейный праздник, в кругу семьи. Как тебя Полина отпустит? Или ты с ней вместе ко мне собираешься?

«И что это я говорю? Вот теперь-то он и скажет – шутка, мол, привет семье, до новых встреч, чаю, бомбина!»^[41]

– Нет, конечно, смотри сам. Если хочешь, заходи. Хоть в Новый год, хоть первого.

– Первого? Порядок. Если не прогонишь, приду в два часа, готовь полбанки.

Вот так и договорились. Придет. Чего ему врать, сам предложил, не напрашивалась. Придет.

Комнату свою Антонина, конечно, вылизала, себе купила новое платье цвета морской волны и приталенное. Это ведь еще надо найти – пятьдесят второй размер и по фигуре, у нас на полных шьют, как на старух, мешки, а не платья, даже обидно.

Тридцать первого сбегала к знакомой парикмахерше, сразу после гимна. Зато первого к часу дня была уже готова – платье, как влитое, на груди кулон, колготки, правда, порвала, когда натягивала, потому что импортные. У заграничных

баб не ноги, а палки, а у нас ноги фигуральные, вот и тесно. Ну да ничего, подняла петлю, сойдет.

Потом накрыла на стол. Скромненько, не очень, чтобы очень, потому что не покупать она мужика собирается за какую-то ветчину или икру. Поставила огурчики соленые, шпроты, еврейский салат (Роза Львовна научила: творог, чеснок мелко порубить, зелень – можно укроп, можно петрушку), ну и там сыр, колбасы «Советской» твердокопченной триста грамм, у себя в магазине выпросила. Сволочи все же Катька с Валентиной, как надо что из бакалеи, так «Тося» да «Тося», и она им, конечно, все оставляет, а у них вечно по сто раз проси, унижайся...

Короче говоря, стол получился не то, что богатый, но приличный. А водки, как просил, купила пол-литра. И хватит. Это с Полиной они пускай пьянствуют, Тоня не Полина, что раньше было, то прошло, и вспоминать нечего.

В холодильнике, конечно, была еще «маленькая» и две бутылки пива на запас, но это – как получится.

Анатолий пришел точно в два. Снял в передней пальто, и Антонина даже обалдела, никогда таким его не видела. Костюм цвета беж, галстук весь переливается, волосы курчавые, а она уж забыть, оказывается, успела, какие у него красивые волосы.

Пошли в комнату. Антонина говорит:

– Ну, ты даешь. Прямо, как из загранки.

А он хохочет:

– Это ты прямо в точку, костюм у меня импортный, маде ин Поланд. Ну что, видела костюмчик? Больше не увидишь.

Снимает пиджак, вешает на стул, галстук туда же, и – за брюки. Антонина села на оттоманку и молчит, что говорить, не знает. Он брюки снял, хохочет, как чокнутый:

– Чего рот раззявила, деревня? Надо быть современной женщиной, к тебе не кто-нибудь, а любовник пришел. Раздевайся.

Антонина встала и опять стоит, молчит. С одной стороны, конечно, приятно, что он считает ее за современную женщину и не просто выпить пришел, но с другой стороны, у них, может, это и принято, а у нас не привыкли еще.

А он стоит, в чем мать родила, одни носки оставил с полуботинками, и ухмыляется.

– Ну чего? Раздевайся, да побыстрее!

Антонина смотрит – он берет со стола бутылку, наливает ей стопку, себе стопку, и говорит:

– Пей, давай, тогда, может, смелее станешь, а то, как все равно дурочка. Французские кинофильмы смотрела?

Не ругаться же с ним, не для того полгода ждала. Антонина взяла стопку, выпила. Ладно. Французская жизнь, так французская, хорошо хоть сорочку новую надела, нейлоновую. Сняла свое платье морской волны, а он: все снимай, тут тебе не ателье мод и не поликлиника. А сам еще наливает. Антонина хотела погасить лампочку, а он: еще чего? Дикость, – говорит, – или может, ты у нас с браком? Не помню,

чего у тебя там не хватает, вроде, всего полно и все на месте. Ну, что с ним поделаешь, – шутник!

В общем, она разделась, стоит, а что дальше – не знает.

Но Анатолий на кровать даже не посмотрел, сел к столу, ну, и она напротив, живот скатертью прикрыла. Холодно все же. А Толька:

– Чего прячешься? Тело женщины, это, во-первых, красиво. В Русском музее была? И ты интересная, как Венера. А я – смеется – как этот... Ганнибал.

Может, со стыда или от волнения, а может, потому, что со вчерашнего дня крошки во рту не было, Антонина сразу опьянела. И стало ей плевать, что сидит тут, как дура, голая, и что тело-то уж не то, и что от окна так и свищет. Весело ей сделалось и хорошо, потому что вот он, Анатолий, пришел все-таки, сам пришел, сидит, точно фон-барон, а на плечах веснушки, как у маленького...

– Толик, тебе не холодно? Я платок принесу.

– Иди ты с платком! Налей лучше! А потом погреемся.

...а плечи-то широкие, красивый до чего! Ну прямо в точности Ганнибал, или какой-нибудь Юлий Цезарь.

По-французски – так уж пускай на всю катушку! Антонина встала, прошла на каблучках через всю комнату и включила телевизор. Как раз показывали концерт артистов эстрады. И – черт с ним! – достала из холодильника «маленькую» и пиво.

Еще выпили, за любовь. Антонина чувствует – опьянела,

закусить надо, а не лезет кусок в горло, да и все. А тут еще Майя Кристалинская как запоеет: «Я давно уж не катаюсь, только саночки вожу»^[42], ничего, вроде, особенного, а у Антонины слезы.

– Толечка, миленький, я для тебя, что хочешь, сделаю! Что скажешь, то и сделаю!

– Да не могу я с тобой расписаться, Тонька, пойми ты это, чудачка!

– Не надо мне. Зачем? Я и так для тебя – что хочешь... Я бы и стирала, и обшила, а денег – на что мне деньги, я сама зарабатываю, я бы у тебя зарплату не брала... и какой хочешь можешь приходить, хоть и пьяный, хоть какой...

– Кончай реветь. Ты – баба хорошая, лучше Польки. Но расписываться – это нет.

– Толик, я, когда мимо ресторана «Чайка» прохожу, где мы с тобой тогда, так всегда плачу, как ненормальная...

– Я – мужчина... Поняла? Ты – баба, а я мужчина... И все... Еще керосин есть, нет?

– Меня все тут за последнюю, за не знаю кого считают, что я тогда так с Валериком... ты пойми, я же мать! Я ребенка своего люблю, ребенок не виноват... Но тебя я больше своей всей жизни!.. Если б ты заболел, я бы кровь дала...

– Это лимонад? Лимонад, да?! Не могла две поллитры взять, говорил ведь: жди!.. Я мужчина... бля... с-сука! И – все!.. Поняла?! Не распишусь. И – все!

– Толик, ты кушай, вон огурчики соленьенькие...

– Отстань! Сказал – от-стань!.. И все... Одну бутылку...
Пожалела... сука... Я мужчина! Титьки развесила, корова...
Я – мужчина, а ты – сука... И все... И все...

– Толик, если что, я сбегаю, ты успокойся, миленький! Толенька!..

– Убери руки! Руки убери! Не трогай, б...! Убью суку! Убью!!!

– Толик! Не надо! Не надо! Прошу! Вот – на коленях прошу... Толечка! О-ой! Ногами – не надо! Толечка! Толечка-а!..

– Молчи, курва! Получила?.. Вставай! Разлеглась тут... сука! На тебе! На! Заткнись, убью! Заткнись!!!

Хорошо еще – в квартире никого не было, жиличка в гости ушла.

7

А Роза Львовна собирается на свидание. Лазаря зачем волновать, ни слова вчера ему не сказала, хватит парню и своей беды. Матери – все парень, а ему сорок лет, возраст, кстати, для мужчины самый опасный, если уж в этом возрасте случится инфаркт, то это очень и очень плохо. Говорят, беречь надо мужчин именно сейчас, следить, чтобы укрепляли сердечную мышцу, спортом занимались, легкой атлетикой, только судьба не спрашивает, сколько кому лет.

Каждому когда-нибудь достается настоящее страдание,

вот и Лелику пришла очередь. В Горьком, в эвакуации, в самые страшные годы был счастливым – маленький, ничего не понимал, мать рядом, а отцов тогда ни у кого не было. Голодать Роза Львовна ему не давала, не допустила, устроилась на макаронную фабрику, дали рабочую карточку, а по вечерам шила. Ведь смешно сказать: до войны ничего не умела, а заставила нужда, научилась и кроить, и шить, и вязать, даже подметки ставить.

А потом пошло легче: учился Лазарь хорошо, товарищи его любили, очень способный был мальчик и общительный. Не приняли в Университет – это, конечно, был удар, но он не растерялся, поступил в технический вуз, хотя мечтал стать журналистом. Способный человек – всегда и везде способный, вот и в технике всего добился, кандидат наук, физик! Такая – сама и так воспитала – не ныть, не жаловаться, что есть – есть, а чего нет – и не надо.

Любой пример: разве кто-нибудь в семье, она или Лелик, сказал одно слово, что нет у Фиры детей? Вообще никогда Лазарь не жаловался на жену, молодец, но и Роза Львовна ни разу себе не позволила; они друг друга нашли, им и жить...

...Как она могла бросить Лазаря, чем он ей не угодил? Не рахмонес^[43], просто выдержанный и тактичный. Не слишком красивый? В мужчине не красота главное, и пятнадцать лет назад Фира это понимала.

Любовь... Сердцу не прикажешь, и, хоть этот Петухов ничем не лучше Лелика, а гораздо хуже, что тут поделаешь, ко-

гда любовь? А что у Фиры любовь, это давно заметила Роза Львовна, видела, вся обмирая, как та ничего не ест за обедом, отвечает невпопад и точно прислушивается к чему-то, что одна она только слышит. То ни с того, ни с сего вся вспыхнет, то улыбнется. А глаза! Какие у нее были глаза, боже ты мой! Я сперва даже подумала, что Фирочка в положении, но тогда она была бы мягче, ласковее с мужем...

Лазарь ничего не рассказал матери о том вечере, когда Фирочка оставила их дом. Сама Роза Львовна ушла тогда в начале разговора, не хотела мешать, может быть, неумно поступила. А потом Лелик только и сказал: «Мы с Фирой решили разойтись». «Мы». И – больше ни звука об этом, а в душу лезть – не в характере Розы Львовны, не умеет.

А другие умеют. В доме всегда все известно, сперва смотрели такими глазами; Антонина, на что уж распущенная женщина, и та: Розочка Львовна, Розочка Львовна, как же у вас, а? А потом зашла Наталья Ивановна Копейкина, да все и выложила – про Петухова, про Израиль, про несчастную Танечку.

Фира просто сумасшедшая, что решила ехать, но можно и понять – кто решил разрушить, идет до конца, а где жить с любимым человеком, это не имеет значения, ничто не имеет значения, лишь бы вместе. Разве сама Роза Львовна после известия о гибели мужа все годы тысячу тысяч раз бессонными ночами не думала: а вдруг ошибка? Вдруг живой? Пусть калека, пусть контуженный, душевнобольной, пусть –

что хочешь, только бы вернулся! Даже если попал в плен и наказан – все равно счастье, они с Леликом поедут к отцу в любую даль, хоть на Сахалин. Только вряд ли. Немцы не оставили бы в живых пленного еврея, да и не сдался бы Моисей – такой человек, в этом Роза Львовна была уверена, тем более, письмо фронтового друга... Но бывают же и ошибки!

И вот вам парадокс: теперь, через столько лет, Роза Львовна вдруг узнает, что Моисей жив, и это для нее удар! И горе, и боль, и обида. Ты его любишь, так радоваться должна, кто это молил Бога: «Пусть какой угодно, только живой»? Вот – он живой, и что же? И оказывается: лучше калека, лучше преступник, лучше... страшно сказать... мертвый. Но – мой.

Ничего не объяснишь, ничего не поймешь, так не тебе и судить других за любовь к Петухову. Хотя наверняка будут еще у Фиры большие страдания – такой Петухов, чего доброго, и пьяница, и антисемит. Ни в чем не нуждался, занимал большой пост и вдруг – Израиль! Предательство, если разобраться. Он же русский человек.

...А Лелик на руках ее носил...

Обо всем этом думает Роза Львовна, рассуждает сама с собой, хочет быть справедливой, а сама, между тем, собирается.

Главное свидание в жизни женщины бывает иногда и в шестьдесят лет. Конечно, что там прическа или наряды, но новое демисезонное пальто, купленное в декабре, сегодня оказалось очень кстати. Март на дворе.

Роза Львовна аккуратно укладывает в сумку фотографии: Лелика принимают в пионеры, Лелик с классом в день окончания школы, а это – она сама, с Доски Почета, 1950 год, молодая, с медалью...

...Свадебные снимки, Фира, как ангел, это – в сторону, вообще надо спрятать подальше. А его кандидатский диплом возьму, и все авторские свидетельства, восемь штук. Восемь изобретений – не шуточное дело, один даже есть заграничный патент. Вот какого сына вырастила Роза. Одна вырастила, выучила и вывела в люди.

Роза Львовна защелкивает сумку, раздувшуюся от бумаг, и все-таки идет к зеркалу. Губы надо подмазать, платок – к черту! Надену вязаную шапочку. И никто этой женщине больше пятидесяти не даст! Потому что не расплылась, не опустилась. А седые волосы – это благородно, сейчас модно, даже девочки носят седые парики.

...Почему она выбрала местом встречи Юсуповский сад? Наверное, можно догадаться: потому что последний раз в жизни они гуляли все втроем – она, четырехлетний Лазарь и Моисей. Было это в субботу вечером, двадцать первого июня. А жили тогда рядом, на Екатерингофском. Но, конечно, когда Моисей вчера позвонил, она ничего в виду не имела, сказала первое, что в голову пришло, а пришел в голову Юсупов сад.

– Здравствуйте, Роза Львовна, говорит Кац по вашей открытке, – начал свой телефонный разговор Моисей, – я по-

лучил открытку и решил сразу позвонить.

Голос его оказался удивительно похожим на голос сына, только акцент, а Лелик говорит чисто, как диктор.

Старалась разговаривать достойно, без волнения:

– Здравствуй, Моисей. Так как теперь выяснилось, что все эти годы ты был жив, моему сыну необходимо уточнить свои анкетные данные. На случай заграничной командировки^[44].

Никакой командировки не предвиделось, особенно теперь, после истории с Фирой, но Роза Львовна продолжала:

– Раньше он писал: отец погиб на фронте, теперь же необходимо указать место жительства и работы.

– Я на пенсии, – грустно сказал Моисей.

– Тогда последнее место и должность.

– Если надо, я могу сейчас приехать, – предложил он, – адрес я знаю, выяснил в справочном...

– Поздно тебе понадобился адрес сына, – сказала Роза Львовна заранее приготовленную фразу, – приезжать незачем, у тебя своя жизнь, у нас своя. Если ты очень хочешь, можно встретиться. Завтра. Часа в четыре. В Юсуповском саду у входа.

– Хорошо. Я приду в четыре, – покорно согласился Моисей.

На двадцать минут раньше он явился, а возможно, и больше. Роза Львовна сама почему-то оказалась около сада без четверти четыре, и издали, с противоположной стороны Садовой, сразу увидела: уже стоит. С Лазарем, кроме голоса,

у этого гопника ничего общего не оказалось, разве что цвет глаз, но выражение совсем другое, как у старой клячи. Какой-то маленький, худенький... Эх, Моисей, Моисей, разве так выглядел бы ты сейчас, если бы не совершил предательства к жене и сыну!

– А ты, Роза, совсем не изменилась, – сказал Моисей, когда она подошла, – все такая же, я просто поражен.

Ну что, сказать ему все, что думаешь, что он заслуживает услышать?... Зачем?

– Пойдем, сядем, – предложила Роза Львовна, внимательно оглядев ношенные-переносные ботинки Моисея и его куцее пальтишко без двух пуговиц, первой и четвертой, – или, может быть, ты замерз? Так я могу пригласить тебя в кафе.

Не ответив, он по грязной, раскисшей дорожке потащился к лавочке и сел, подпернув на коленях брюки, на которых, кроме пузырей, ничего не было. Роза Львовна не торопясь достала из сумки газету, постелила и аккуратно села, чтобы не запачкать новое пальто.

– Ну, говори, – сказала она.

– Что я могу сказать? Когда я решил... я встретил ту женщину... ну, когда мы написали тебе то письмо... я подумал: так будет лучше, ты гордая, и тебе будет легче оплакать мертвого, чем узнать... – забормотал Моисей.

– Это меня не интересует: женщина, твоя ложь, – перебила его Роза Львовна, – сообщи последнее место работы и с какого года на пенсии. Адрес я знаю. Тоже нашла в справоч-

НОМ.

– На пенсии я с января 1965 года, а работал в торговой сети.

– Должность?

– Продавцом.

– Ты же имел образование? Специальность техника!

– Ну, так получилось. Семья...

– Можно содержать семью и при этом работать честно^[45].

Да... Значит, продавец... А я вот еще не на пенсии. Старший библиотекарь. А Лазарь кандидат. Скоро поедет в Москву, вызвали в Министерство.

Моисей молчал. Она ждала, что сейчас он начнет расспрашивать о сыне, но он молчал. И в это время вдруг начался дождь. Сразу стемнело, мелкие капли сыпались на скамейку.

– Пойду, – угрюмо сказал Моисей и поднялся, – поезд у меня в 16.50, а еще купить надо, в Шапках с продуктами плохо.

И тут Роза Львовна не выдержала:

– Поезд у тебя? – закричала она, вскакивая. – А совесть у тебя есть? Как у сына дела, чего он добился в жизни – это тебя интересует?

– Интересует, – буркнул Моисей, переступая своими дырявыми ботинками в луже, – ты же сказала – кандидат. И соседей спрашивал. Квартира у вас и машина. Кандидаты. В Министерство! Библиотекари! «Имел специальность техника!» А – когда трое детей и жена больная? Когда жрать нече-

го? «Содержать семью и работать честно»! Спасибо за науку, гражданин начальник! Конечно, тогда я пришел нетрезвый, это безусловно. Но зачем он от меня, как от заразного? Он же сын... Вот... – грязными, негнущимися пальцами он шарил по карманам, полез в пальто, потом в пиджак, – вот, отдай, скажи спасибо от родного отца! Он мне тогда дал, так это я долг возвращаю! Я брал в долг! – Он совал в руки изумленной Розы Львовне смятый рубль и какую-то мелочь.

– Да что ты... – говорила она, отступая, – зачем? У нас есть, мы ни в чем не нуждаемся...

– Есть – и на здоровье! – кричал Моисей. – Не нуждаетесь, и прекрасно! Мне вашего не надо, я пенсию имею, за работу! Всем, чем обеспечен!

Внезапно он выхватил у Розы Львовны сумочку, открыл ее, высыпал туда деньги, повернулся и чуть ли не бегом направился к воротам. Роза Львовна, вконец растерянная, нерешительно пошла за ним. У ворот он замедлил шаг, видно, запыхался, но продолжал уходить, не оборачиваясь.

Так они и двигались к Сенной площади друг за другом. Роза Львовна в каких-нибудь десяти шагах видела впереди старческую спину, сутулые узкие плечи, обтянутые старым пальто, желтую сетку с какими-то кульками – откуда он ее вытащил? В кармане была, наверное так.

Моисей не оглядывался.

Они миновали рыбный магазин, перешли Московский проспект, теперь Роза Львовна почти догнала его. Куда он?

К метро, конечно. На вокзал лучше всего – на метро.

Вот и состоялось их последнее свидание...

– Моисей! – крикнула Роза Львовна. – Моисей, стой!

Голос ее неожиданно пресекся, густой зеленоватый туман застлал глаза, ноги ослабели...

– Что с вами, мамаша? – участливо спросил молодой голос, и Роза Львовна почувствовала, что ее крепко взяли под руку. – Вам плохо?

– Ничего... остановите его... гражданина, – еле выдохнула она, пытаясь поднять руку, – вон тот, пожилой, с сеткой...

– Нету там никого, мамаша, вам почудилось. Вы не нервничайте. Можете стоять?

– Я стою. Все уже проходит. Прошло. Спасибо.

Зеленая мгла рассеялась, и Роза Львовна увидела рядом встревоженное лицо в очках. Совсем мальчик, студент, наверное.

– Все прошло, вы идите, молодой человек, спасибо вам, я сама.

Она освободила руку и шагнула вперед. Моисей исчез. Народу поблизости было немного, она внимательно вгляделась – нету. У входа в метро нет, и на трамвайной остановке, и у магазина. У Розы Львовны зоркие глаза, очков не носит, не могла она ошибиться. Моисей Кац пропал, как провалился.

В последний раз Роза Львовна медленно и тщательно оглядела Сенную площадь. Что ж... Нет так нет. Сорок лет

почти не было – и опять нету. Значит, так оно и правильно, что ни делается – все к лучшему. Роза Львовна крепко прижала к себе сумочку и пошла на остановку.

8

Наконец-то подошла очередь поговорить о Семеновых. А то уж так, по правде сказать, надоели все эти драмы и трагедии, пьяная Антонина с распухшим глазом и синяками по всему телу, заплаканная Роза Львовна, молчаливый и похудевший Лазарь. Да что их всех перечислять, бумаги не хватит, а мы с вами – тоже люди, у нас и дома хватает неприятностей, и на работе, а тут еще – видели? – сел человек раз в жизни, в свободное от дел, хозяйства и телевизора время почитать книжку – и опять ужасы, разводы, слезы, треугольники какие-то... И все герои, как один, или сволочи или вовсе – аморальные уроды. Остается только окончательно решить, что это так называемое «сочинение» – просто клевета на нашу действительность. А как вы думали? Как будто нет вокруг здоровых, веселых, румяных людей, спортсменов, как будто никто не едет на БАМ и КамАЗ^[46], будто не ходит по нашему городу умная интеллигенция с портфелями, этюдниками и творческими замыслами... И погода – всегда плохая. И в магазинах – очереди.

Все. Передых. Расслабились.

Мы у Семеновых. Семья у них крепкая, дружная, здоро-

вье отличное, и это не случайное везение, просто никто не пьет и не валяется по диванам с книгами, а все работают, так что болеть и ныть тут некогда. В комнате тепло и чисто, все блестит – от пола, покрытого лаком, до мебели и окон. Сын – отличник английской школы, председатель совета отряда^[47], глава семьи Семенов – передовик производства, портрет его висит во дворе завода. Не фотокарточка какая-нибудь, а настоящий портрет, нарисованный настоящим художником. И характеры у всех спокойные и уживчивые, с соседями никогда никаких ссор. Вот, Тютины, старики уже, Марья Сидоровна, когда ее уборка, бывает, и пыль в коридоре в углу оставит, и плитку плохо моет. Но разве ей когда слово сказали? Ни разу. Наоборот, всегда: «Марья Сидоровна, я в молочный, вам кефиру взять?»

Счастливые люди редко бывают злыми, это известный, проверенный факт, а Семеновы со всех точек зрения имеют право называться счастливыми людьми.

Вот только, что такое счастье?

Один не очень уважаемый человек говорил, что счастье, мол, это максимальное соответствие действительного желаемому. Если отбросить наши с ним личные счёты, то, может быть, он и прав? Все дело в том, что для кого – желаемое. Какая цель? А если не дубленка, а Коммунизм?^[48] То-то.

Но с другой стороны есть мнение, что цель – ничто, а движение – все, и это уже не кто попало придумал, а какой-то классик, чуть ли не теоретик перманентной революции^[49].

Есть еще люди, которые утверждают, что счастье, это когда нет неприятностей. Что-то в этом есть, и как-то, лежа бесплатно в больнице «25 Октября»^[50]... Ладно. А вот счастье Семеновых как раз заключается в том, что они не ищут этому состоянию никаких определений или – себе оправданий: почему, дескать, нам хорошо, когда другому, той же Розе Львовне, плохо. Вообще они не занимаются решением проблем, а просто живут. На вопросы знают ответы, знают, чего хотят и что надо сделать, чтобы их мечты стали явью. И делают дело, а не ждут, когда придет дядя или детский волшебник Хоттабыч. Поэтому я считаю, что, если уж где и отдохнуть нам с вами, так только у Семеновых, где в настоящее время хозяин дома, сидя за столом, ест борщ. Восемь часов утра. Семенов пришел с ночной смены, сын уже в школе: сегодня сбор металлолома^[51], а Дуся на больничном. Вот тоже повезло, всего день была температура, а врач уже неделю не выписывает, но платят сто процентов.

Чистая клеенка. Тарелка с золотым ободком. Борщ украинский с чесноком и сметаной. Свет горит еще, темно на улице.

– На Пасху буду две смены работать, в ночь и в день, – говорит Семенов, откусывая хлеб.

– Чего?

– Мастер сказал: двойной средний и к майским премию выпишет. А может, и живыми деньгами. Четвертной. Никто не хочет выходить, все верующими заделались.

– Еще не скоро Пасха...

– Доживем. Парню, если перейдет с пятерками, велосипед надо покупать, обещались. Ты-то тоже, небось, пойдешь куличи святить?

– Пойду. А что мы, не люди?

– Верующая, значит?

– Ладно тебе.

– Если богомольная, то где твоя икона?

– С ума сошел! Сын же у нас. Пионер! Ребята из класса придут, потом Майе Сергеевне скажут – у ихнего председателя дома религиозная пропаганда^[52].

– Ишь ты, «пропаганда»! Пошутил я. И куда их нам, эти иконы, всю комнату портить. Только тогда скажи другое: как вам Христос велел, «не воруй»?

– Не укрбди.

– А из чего ты пододеяльник вчера строчила?

– Ой, да отвяжись ты с глупостями!

– Нет, а все же: купила бязь на свои или все-таки с завода приволокла?

– Это не воровство. Воровство, это если у людей, а я со склада. Там этой бязи знаешь, сколько валяется? Девятый год работаю, все валяется, скоро в утиль спишут. Не я возьму, другие в два раза больше утащат. Не обеднеет твое государство, все берут – и ничего. Хоть ваш начальник цеха, а хоть и замдиректора.

– По-твоему, честно?

– А на улице если нашел, поднять – честно? Да хватит тебе болтать лишь бы что! Не на собрании. Доедай и ложись, я уже постелилась. Разговорился тут, депутат!

– Дуська, не нервничай, я так. Тебя дразню. Борщ вкусный, будь здоров! Хорошо, когда жена дома.

– Ясное дело, гулять – не работать! Ой, чуть не забыла! Эти-то в Израиль собрались.

– Кто?

– Лазаря жена с Петуховым, ну, с начальником-то. Чего делаешь квадратные глаза? К Петухову она ушла, уезжают в Израиль.

– Ну?!

– Вот и «ну». Татьяна в нервную больницу попала.

– Ну, дают. Не ожидал от Петухова. Все было: машина казенная, по заграницам бесплатно ездил. У кого все есть, всегда мало.

– Я вот думаю, а может, он еврей? Похож.

– Ладно, Евдокия, я спать пошел. Хрен с ними со всеми, нас, слава Богу, не касается, я с этим Петуховым и знаком, считай, не был – «здрасте-досвиданья».

И верно, – прав Семенов, не касается. И пусть он спит, слесарь шестого разряда, золотые руки, ударник труда. Он не после гулянки спит, а после смены.

А мы посидим еще немного около батареи парового отопления, неделю назад выкрашенной масляной краской в голубой цвет. Молча посидим, чтоб не мешать, только отодви-

нем жесткую, накрахмаленную занавеску и поглядим за окном, где среди темного, осевшего снега раскинули ветки мокрые деревья.

Тает, со вчерашнего дня тает, с крыш вода течет, и капли стучат по железному карнизу.

Часть третья

Праздник

1

Если в первомайский день посмотреть с вертолета, праздничная площадь похожа на лохань, в которой стирают белье. Колышется, плывет многоцветная пена, лопаются в воздухе пузыри воздушных шаров, ручьями стекает в улицы толпа, устало опустив свернутые отслужившие знамена, волоча по земле тяжелые портреты.

Если же посмотреть с вертолета на Марсово поле – это тоже очень внушительное зрелище: точно факелы, поднялись над ним обернутые красными полотнищами фонари^[53], расставленные какими-то особыми геометрическими фигурами, только с высоты различимыми и понятными. А в самом центре днем и ночью вечным пламенем полыхает желтый костер.

Красные флаги хлопочут на ветру вдоль решетки Кировского моста, красные флаги свисают со стен домов, красные флаги в руках тысяч людей, заполнивших в это праздничное утро улицы, набережные, переулки и скверы. Красные улицы, красные набережные, красные переулки и скверы. Красный город, если смотреть с вертолета.

И красные повязки на рукавах румяных дружинников, спорящих с женщиной в несвежем белом халате около белой машины с крестом во лбу.

– Проезд закрыт. Прохода нет, нельзя здесь^[54], – устало повторяет и повторяет один из дружинников, главный, не в первый раз произносит он эти слова и давно бы надо гаркнуть, но он говорит так тихо, только потому что воспитанный человек не может грубить пожилой женщине, да и неохота портить настроение в такой день. Но, наверное, тоже не в первый, похоже, в десятый раз твердит свое бестолковая и настырная докторша, талдычит охрипшим сломанным голосом:

– Там возможен инфаркт, вы что, не слышите? Там инфаркт, понимаете, нет?

– Проезд закрыт, – из последних сил говорит дружинник, даже и теперь не повышая голоса. – Видите, грузовики? Ваша машина просто не пройдет, что я могу сделать?

Грузовики стоят сомкнутым жестоким строем, перегородив улицу. Врачиха замолкает – дошло, наконец. Секунду она бессмысленно топчется, уставившись на широкий, неумолимый зад грузовика, потом мрачно лезет в свою машину и громко хлопает дверцей. Взрывает мотор, и, медленно развернувшись, Скорая уезжает искать объезд.

А на Марсовом Поле уже толпа – флаги, портреты, шары – хлынула демонстрация.

Приглашение на трибуну Петру Васильевичу Тютину прислал Совет ветеранов. Помнят, черти, ценят, уважают старого солдата, опять, смотрите, солдата – не мастера, тем более, не пенсионера, а именно солдата!

Получив пригласительный билет, старик долго ходил с ним по квартире, показал жене и Дусе Семеновой, потом пошел во двор, тоже показал кое-кому, а еще позвонил на работу Анне и торжественно объявил, что берет с собой на площадь обоих внуков, Тимофея и Даниила. Дочь однако сказала, что долгосрочный прогноз обещал холодную погоду и осадки, а мальчики оба кашляют, пусть лучше посидят дома. Ну что ты скажешь! Обычная женская глупость, как будто не ясно – для любого мальчишки пойти с дедом-фронтовиком на трибуну в сто раз полезнее любых горчичников с микстурами! Петр Васильевич крикнул, выгреб из кармана груды двухкопеечных и принялся названивать друзьям: поздравлял с наступающим, спрашивал, как в части здоровья, встретимся ли на День Победы, а в конце, между прочим, сообщал, что, вот, хочешь – не хочешь, а Первого мая придется идти на трибуну, Совет ветеранов требует, билет на дом принесли, так что болен – здоров, никого не касается, будь любезен явиться в 10.00 и принимать парад трудящихся, товарищ Тютин.

В день праздника с утра хлестал дождь, ползали по небу мордастые и злобные тучи, похожие на армии Антанты со старого плаката, и в груди жало, в силу чего Петр Васильевич тайком от жены принял нитроглицерин.

Марья Сидоровна несколько раз с тревогой поглядывала на мужа, но сказать ему, чтоб остался дома, не смела, да и правильно: что без толку раздражать старика?

До Дворцовой Тютин добрался быстро и хорошо, дождь как раз попритих, по звенящим от репродукторов улицам бежали опаздывающие на демонстрацию, многие, конечно, уже хвативши, нехорошо, вообще-то, с утра, да у кого язык повернется осудить – такой день! Еще во дворе Петр Васильевич столкнулся с Анатолием. Тот был в сбитой на затылок кожаной шляпе, в расстегнутой нейлоновой куртке, с распахнутым воротом белой рубахи.

– С праздничком, Петр Васильевич! – рывкнул Анатолий, и на Тютина понесло сивухой.

– Тебя также, – сдержанно отозвался Петр Васильевич. Анатолий ему не нравился.

– Демонстрировать идете? – не отставал тот. – А и я тоже. Знамя до Дворцовой понесу, у нас за знамя два отгула обещали^[55].

– Постеснялся бы ты, Анатолий! – все же не выдержал Тютин. – Кто это у вас придумал такой цинизм? Вот напишу в райком. И ты – хорош! Это же честь – нести заводское знамя!

– Не смейши человека в нерабочий день, папуля! «Честь»!

Это все словечки из до нашей эры. Вы уж их забирайте с собой на заслуженный отдых, а нам давай деньгами.

Тютин больше не стал разговаривать с дураком, ушел, но настроение все-таки подпортил, паршивец, и сердце опять засосало. Как у них все просто, черт его знает! Такой за целковый будет тебе крест вокруг церкви на Пасху таскать, ничем не побрезгует, лишь бы платили, беспринципность полная. Это поколение такое – горя не знали. Черт с ним, паршивая овца, хороших людей у нас намного больше.

...Что там ни говори, а приятно стоять на трибуне среди заслуженных людей, почти рядом с руководителями города, приветствовать – руку к шляпе – проходящие мимо мокрые, но все равно веселые, гулкие колонны. Демонстрация только еще вступила на площадь.

– Слава советским женщинам!

– Ур-р-а-а!

Это уж верно, слава, сколько они на своих плечах вытащили, наши бабенки, и до сих пор тащат. А вон идут – нарядные, красивые, точно не они – и у станков, и на машинах, и в поле. Нету в мире красивей наших женщин, знаю, Европу прошел, повидал. Нету!

– Слава советской науке!

...и в космосе мы первые, Саяно-Шушенскую, вон, сдаем^[56]...

– Ур-а-а-а! – ревет площадь.

Что-то в груди как будто стало тесно, как будто сердце там

не помещается, жмет на ребра, подпирает под горло. Петр Васильевич вынул нитроглицерин, пальцы плохо слушались, и уже чувствовал – надо уходить, быстрее уходить, не хватало еще грохнуть тут в обморок, чтобы сказали: приглашают на трибуну старья, а они и стоять уже не могут... И в глазах смутно... наверное, упало атмосферное давление, для гипертоников последнее дело. Торопясь, стараясь не думать про тупую боль в груди, не думать про нее и не бояться, Тютин спустился с трибуны и пошел к выходу, к улице Халтурина.

Боль в груди однако не утихла, она была другой, не такой, как обычно, была незнакомой и грозной, росла. Но сейчас-то не страшно, вон уже и Марсово Поле, добраться бы как-нибудь до Литейного, а там автобусы, да и машину какую-нибудь можно остановить... только бы домой, скорее бы домой... темнеет, дождь, что ли, опять собирается, воздух, как мокрая вата, дышишь, дышишь, а все без толку...

Боль сделалась громадной и красной. И захлестнула весь город.

На Марсовом Поле веселье. Докатилась сюда разжеванная и исторгнутая площадью людская масса, повсюду – на скамейках, на дорожках, на газонах обрывки расчлененной толпы. Прямо на мокрой земле, на только что продравшейся траве расстелен кумачовый плакат. Вдоль белой надписи «МИР И СОЦИАЛИЗМ НЕРАЗДЕЛЬНЫ» – батарея пивных бутылок, две «маленькие», гряда пирожков, бутерброды

с сыром.

– С праздником, старики!

– Будьте здоровы!

Подняты бумажные стаканчики и сдвинуты.

– Ура, ребята. Вздрогнули.

– Смотрите, дед-то как накирлся. Вон, на скамейке. Лежит, как труп. Когда успел?

– Долго ли умеючи.

– Умеючи-то долго!

– Ну ты, Валера, даешь! Специалист... Не шевелится. А вдруг ему плохо?

– Ага. Сейчас. Ему-то как раз хорошо.

– Пойти поглядеть....

– Иди, иди, Галочка, протрясись, человек человеку друг, товарищ и волк.

– Гражданин! Гражданин!.. Пальто расстегнул, как будто лето. А медалей сколько, и ордена... Гражданин! Эй!.. Колька! Колька! Валерка! Ребята, надо Скорую! Валерка!..

3

...Совсем уже синее, пронзительно яркое небо над Марсовым Полем. Из кустов, из-за голых веток сумрачно и с обидой глядит розовощекий нарисованный на фанере портретный лик. Косой пробор в гладких волосах, темный пиджак, звездочка на груди^[57]. И у Петра Васильевича на груди – то-

же звездочка, орден Красной Звезды, приколот по случаю праздника.

Смотрит из кустов брошенный кем-то приколоченный к палке портрет. Смотрят в празднично-синее небо застывшие глаза ветерана Тютина. И уже не видят, как далеко в космической вышине пролетают над городом и лопаются радужные пузыри детских воздушных шаров.

4

Наталья Ивановна Копейкина на демонстрацию не ходила. В семь часов утра сорвался с цепи будильник, долго радостно трезвонил, но иссяк. За окном лило, кричали мокрые репродукторы, и она подумала, что в праздник человеку должно быть хорошо, а это – когда живешь, как хочешь. И, виновато посмотрев на поджавший губы будильник, она повернулась к стене и с головой залезла под одеяло.

Оттого, что все должны вставать и тащиться куда-то по дождю, а она лежит себе в теплой постели, как королева, Наталье Ивановне сделалось совсем уютно, и она заснула под марши, несущиеся из-за окна.

В пол-одиннадцатого, открыв глаза, подумала, что – хорошо, чисто, вчера полы натерла, в серванте посуда блестит. И пирог. А впереди целый день, который можно провести, как хочешь. Потом вспомнила, что позавчера было письмо от сына, он здоров, работает механиком. Может, и станет еще

человеком? Правда, Людмила последнее время стала редко заходить, как бы не любовь у нее, как же тогда Олег?

Не спеша, Наталья Ивановна попила чаю с пирогом, оделась и пошла гулять. Потому что, сколько она себя помнила взрослой, никогда не ходила просто так, без дела, по улицам. Гуляли в садике с маленьким сыном, а как вырос, только: купить, отнести, к врачу, на родительское собрание, на работу, с работы, на работу, с работы... Этой зимой, правда, грех жаловаться, Людмила где ни таскала, и в музеи, и в Музкомедию, и в Пушкин, в лицей. Но это все равно дела для повышения культуры, тоже заботы: прийти, что положено – увидеть и запомнить, сколько положено – отбыть. Нет. Сегодня она пойдет одна, куда захочет.

– ...С праздником, Марья Сидоровна! Здоровья и долгих лет жизни! Петру Васильевичу тоже.

– Спасибо, Наташенька, тебя также. А Петр Васильевич на трибуну пошел, рукой махать. Не слышала по радио: кончилась демонстрация?

– Еще идет. Рано ведь.

...Наверное, сегодня весь город на улицах, идут, взявшись под руки по трое, а то и пятеро... Почему так: человеку хорошо, когда можно делать, что хочешь, а делать, что хочешь, можно только, если ты один?.. Много все же у нас одиноких женщин, и сразу их узнаешь – семейная идет и по сторонам не смотрит, а вон те три, здоровые, на всех мужчин заглядывают, улыбки, как ненастоящие, и лица незамужние...

Смешные бабы, вцепились друг в друга, как три богатыря с той картины, самая полная – Илья Муромец... Нет, все-таки обязательно надо иногда походить одной...

Мимо старухи, торгующей «раскидаями», мимо пьяненького инвалида со связкой дряблых воздушных шаров Наталья Ивановна подошла к лотку и купила себе шоколадный батончик за тридцать три копейки с коричневой начинкой. Давно она не ела шоколада, ну как это ни с того, ни с сего взять да и купить себе шоколад?.. А народу на улице все больше, наверное, кончилась уже демонстрация.

...А вон рыжая собака фотографируется с флажком в зубах, встала, как будто понимает: голова набок, хвост кверху, парень, совсем еще мальчишка, щелкает аппаратом, сам без шапки – вот простудится, а мать крутись, с работы отпрашивайся. Девчонки стоят рядом и хохочут, а флажок весь в грязи, полощется в луже. Вот ведь молодежь, додумались! Мы бы никогда не посмели... больно тихие мы были, смирные, эти не такие... Господи, что это? Крик. Да страшный какой, точно кого убивают.

У входа в гастроном толпа. И, ударяясь о стены, о лица, мечется ржавый, хриплый, отчаянный женский крик. Драка.

– Чего они?

– А пьяные...

– Милицию надо, вечно их нет, когда что...

– Побежали за милицией.

Наклонив вспотевшие лбы, набычив шеи, они наступают

друг на друга. Медленно, как в кино. Наталья Ивановна конечно уж протиснулась в первый ряд. В руках – это ж с ума сойти! – знамена. Наперевес, как ружья. Блестят на солнце медные острые наконечники, похожие на школьные перышки № 86, теперь такими не пишут, теперь авторучки...

– Стойте! Ребята, стойте!

Наталья Ивановна вцепилась в рукав одному из дерущихся, тащит:

– Брось! Слышишь? Брось! С ума сошел?

– Отойди... с-сука... сука... убью! Уй-ди!

...Батюшки! Толька! Зверюга пьяная...

– Сука!

Здорово бы Наталья Ивановна расшиблась об асфальт, да воткнулась в толпу, подхватили.

– Ах ты, гад! Ну погоди же...

– Куда вы, женщина, обалдели? Такой зарежет и не охнет!

– Две собаки дерутся, третья не приставай!

Вот идиот какой, еще в очках! Вцепился в рукав и не выпускает.

– Пусти! Твое какое дело? Пусти, говорю! Чего пристал, очкарик, тоже мне еще!..

– Женщина, вы что, выпили?

– А ты чего лезешь?! Сам пьяный, дурак чертов! Пусти, сволочь, как дам вот по очкам...

А Анатолий и тот, второй, поменьше, точно сигнал получили, кинулись, матерятся, целят друг в друга своими копыя-

ми.

И опять кричит от страха, визжит в толпе какая-то женщина.

Два наконечника – перышки. Два дровка. Две пары поблевших от напряжения рук. Да где же эта милиция?!

А из серебристого репродуктора над головами толпы вдруг посыпался вальс. Точно летний, грибной, солнечный дождь. Зазвенел, заглушая крики, а дерущиеся все ближе друг к другу, лица все темнее, уже глаза...

– Гражданка, прекратите хулиганить! Хотите, чтобы и вас укокошили?

– Пусти, идиот!!!

– Совсем одурела, чего руки распускаешь? По очкам? Дружинников надо! Тут баба пьяная дерется!

...Вырвавшись, выставив вперед руки с растопыренными пальцами, раздирая толпу, вслепую, по чьим-то ногам Наталья Ивановна уходит прочь. Скорее отсюда, скорее домой... домой! А сзади музыка, рояль... И – вопль! Это уже не женщина кричит. Скорее, скорее, наступая на бумажные цветы, на мертвые комочки лопнувших шариков... скорее... только подальше от этой толпы, от того места, где наверно стекает сейчас по каменной шершавой стене густая красная кровь.

5

Вечер. Зажглись над накрытыми столами, над белыми

скатертями праздничные теплые огни, свет во всех окнах. С праздником!

– С праздником!

– С праздником!

– С праздником!

– Ах, дед у нас. Вот дед, безобразник! Все собрались давно, все его ждут: и дочь, и внуки Тимофей и Даниил. А он... Отправился, не иначе, к своему дружку Самохину, встретил, небось, на трибуне. Ну, я ему...

– Да ладно тебе, мамаша, придет. Не трогай старика, пусть гуляет, ветеран.

...Ярко горят разноцветные фонарики, высвечивают контуры военных кораблей.

– Линкор. Вот, самый большой – это линкор. Видишь, Славик?

– Да ты чего, папа! Не линкор, а ракетносец, линкоров сейчас не строят.

– Дожили: яйца курицу... Слышишь, Дуся?

Ну, это надо же, какие дети стали, больше нас разбираются!

– ...Лелик, ну что ты – как пришибленный? «Плечи вниз, дугою ноги и как будто стоя спит»^[58]. Никакой выправки. Пошел бы куда-нибудь, к товарищам. Ведь ты же совсем еще молодой человек, а киснешь в праздник около телевизора. Надо быть мужественнее, мальчик, я вот – одна тебя растила, сколько перенесла, а духом никогда не падала. Ты наоборот

докажи, что ты сильный...

– Хорошо, мама, сейчас я докажу. Хочешь, подниму тебя вместе со стулом?

– Все твои хохмы! Лучше подойди к окну, посмотри, какая красота.

...И верно: красота. Багровое зарево огней полыхает над городом, разливается по светлому весеннему небу.

Грохочет салют, рассыпаются над Невой ракеты.

– Ой, как здорово! Раньше я внимания не обращала. Саш, я не знаю, мы там с ума сойдем, такого второго города нет!

– Лирика, Фирочка. Салют – зрелище довольно варварское, особенно в сочетании с пьяной толпой приматов. Уверю тебя: карнавал в Венеции ничуть не хуже.

– Я понимаю... но все же, если знаешь, что ни-ко-гда...

– ...Ур-р-а-а!!! – кричит набережная.

– Вот сейчас они кричат ура, а завтра им велят кричать: «Бей жидов!», и они, все, как один...

– Саша, ты прав! Ты всегда прав, а я сентиментальная, глупая дура.

– А то еще не поздно, можешь вернуться к своему патриоту-Лелику, к его маме и «Жигулям»...

– Не надо, Саша. Давай лучше посидим, вон скамеечка. Как тут мрачно, фонарики в каких-то красных саванах.

– В саванах – это точно. А что же – Марсово Поле, это ведь, если разобраться, кладбище.

– Ой!

– Ну что «ой»? Обыкновенный портрет. Кому-то из трудящихся было лень нести, и бросил.

Еще залп. И ракеты. И – снова залп.

– Ура-а-а-а! – со звоном встречаются над столами, ударяются друг о друга рюмки, бокалы, стаканы, жестяные кружки.

Праздник. Хорошо, когда праздник. Весело людям – и слава Богу. Ура.

Эпилог

Что ждет нас там, куда мы все попадем, когда наши дела здесь кончатся? Никто ни разу не дал окончательного ответа на этот вечный вопрос. Мог бы теперь в качестве очевидца ответить на него Петр Васильевич Тютин, но молчит. Не потому ли молчит, что знает такое, чего живым знать раньше времени не положено? И не потому ли, не затем ли, чтоб поставить на место тех, кому постоянно не терпится, всегда так надменно-загадочны отрешенные лица мертвых?

Чужой и строгий лежит, сложив на груди руки, Петр Васильевич. Одет он в старый свой синий костюм – все-таки по-его получилось, серый оказался весь в масляной краске.

Пахнут новогодним праздником венки из еловых веток, пахнут летом, сырым тенистым оврагом, букетики ландышей. Похоронный автобус движется сквозь дождливый полдень, капли стекают по запотевшим изнутри стеклам, молча сидят провожающие – родственники и близкие соседи.

Фронтвики поехали в другом, обычном, автобусе и правильно поступили, старые все люди, для каждого похороны друга – репетиция, пусть себе едут отдельно и даже разговаривают на посторонние темы, пускай, успеют еще...

Марья Сидоровна молчит, вздрагивая от толчков на переднем сиденье, дочь, распухшая от плача так, что и не узнать, обнимает ее за плечи, вдоль стен неудобно выпрями-

лись Роза Львовна, Лазарь Моисеевич, Семенов – вот кто помог с организацией похорон, золотой мужик! – Дуся, Наталья Ивановна. Антонины нет, сама не своя с того дня, как забрали Анатолия, ничего не понимает, никого не слушает, бегает где-то целыми днями, говорят, нашла ему какого-то особенного адвоката. Роза Львовна ее уговаривала: таких бандитов, Тоня, надо, извините, расстреливать на месте, он же человека инвалидом сделал, а мог и убить.

Куда! Наберет продуктов – и в «Кресты», а подследственным передачи не положены, вот и тащит со слезами обратно, а назавтра – опять. Похудела, глаза, как фонари, живот уже торчит – на пятом месяце, о чем только такие бабы думают! Второго хочет рожать, и снова без отца, а самой сорок с лишком. Подумала бы лучше о Валерке, мальчишка хилый, слабенький, как картофельный росток, а она убивается по этому бандюге, сына от него, видите ли, ждет.

Зато Полине, той хоть бы что. Так, – говорит, – паразиту и надо. Осудят, возьму развод, отмечу заразу на хрен^[59] к такой-то матери! Пьяная всегда, ему, Анатолию, самая пара.

Ехать еще далеко, – по Садовой, по Стачкам, к Красенькому кладбищу, где с большим трудом – фронтовые друзья в больших чинах хлопотали – удалось добиться разрешения похоронить. В могилу к отцу, скончавшемуся сорок с лишним лет назад, положат теперь Петра Тютина, это называется «подхоронить», но пока выколотишь нужные бумаги, все ноги сносишь.

Марья Сидоровна не плачет, отплакалась. Да еще утром дочка дала выпить какую-то таблетку, от которой все внутри задеревенело, и руки, как чужие, и мысли в голове, как не свои. Что-то силится вспомнить вдова Тютина, а никак не может, что-то важное, неотложное, долг, будто, какой.

Мелькают за дождем дома, трамваи, чужие люди едут в них, небось, многие еще недовольны: что за черт, приходится в такую погоду куда-то тащиться. Не понимают, какие они счастливые, раз не пришел пока к ним день, когда и они поедут в таком вот автобусе – провожать...

Не отстает, мучает Марью Сидоровну тень какой-то мысли, треть пути проехали, а она все не вспомнит, что же это такое. Вот и Сенная площадь, автобусный вокзал, отсюда они с Петром прошлое лето ездили в Волосово... А вон метро, а была когда-то церковь... Церковь Успения Богородицы... И вдруг поплыло в глазах, разъехалось, стало мутным, грязно-зеленым, черным...

...Да где же это она? Так спокойно, тихо, не хочу просыпаться, не трогайте, что они будят, трясут за плечо?..

Не хотелось Марье Сидоровне возвращаться, остаться бы там – в темноте и покое, где нет похоронного автобуса, нет тяжелого запаха вянущих ландышей, нет гроба, где это ведь вовсе не он лежит, не он, вчера кричала, звала, по всякому упрашивала – не отзывался.

...Но пришлось ей вернуться, заставили. Лили в рот какое-то лекарство, плакала дочь, говорила что-то про внуков,

Наталья Ивановна растирала руки.

...Автобус остановился перед светофором.

И тут зеленая мгла совсем рассеялась, ясно стало в памяти, и Марья Сидоровна строго и громко сказала:

– Надо петь. Он велел: у гроба чтоб песня была.

– Мамочка, успокойся, мамочка, не надо... – запричитала дочь и полезла с каким-то пузырьком.

– Молчи, – Марья Сидоровна отвела ее руку, – я не с ума сошла, я тебе говорю – он велел. И надо выполнить. Больше никогда ни о чем не попросит, сказал, чтоб была песня, военная, потому что – солдат.

– Мамочка, – опять попробовала дочь, – как же, на похоронах – и петь?

– Дикость! – ужаснулась Дуся Семенова.

– А когда живой человек умирает – не дикость?! – закричала Марья Сидоровна.

– Ладно, – решил Семенов, – чего спорить, когда покойный сам распорядился. Какую петь?

– Солдатскую, – стояла на своем Марья Сидоровна.

Все молчали. Роза Львовна смотрела в окно, точно происходящее ее не касается, да и не знала она подходящих песен. Лазарь во время войны был маленьким, а на действительной не служил, тоже не знал. Наталья Ивановна, посматривая на вдову, вытирала слезы – пожилой человек, а до чего додумалась... Дуся только покачала головой, пожала плечами и откинулась к спинке сиденья.

– «Землянку»^[60], что ли? – предложил Семенов, но жена гневно взглянула на него, и он замолчал. Замолчал и виновато посмотрел на Марию Сидоровну, сперва виновато, а потом даже испуганно, потому что она опять побледнела, глаза громадные, губы трясутся.

– Мария Сидоровна, вы не волнуйтесь... а ты, Евдокия, помолчи, решается Семенов. – Сейчас, Мария Сидоровна. Сообразим.

...Письма добрые очень мне нужны,
Я их выучу наизусть,
Через две зимы, через две весны
Отслужу, как надо и вернусь...

Молодец Семенов, хорошо поет, ему бы в театре выступать!

...Через две, через две зимы,
Через две, через две весны,
Отслужу, отслужу, как надо и вернусь...^[61]

Ох, если бы так! Пусть – не через две, пусть через пять, хоть через десять зим, только бы вернулся живой! Пусть раненый, больной, виноватый, пусть старый и беспомощный, а – живой!

Вы ведь тоже это понимаете, правда, Роза Львовна? И вы, Наталья Ивановна, потому что сын ваш сейчас далеко, кто

знает, как он там, и ничего вам не надо – пусть плохой сын, эгоист, пусть грубый, пусть даже хулиган и бездельник, а пусть вернется, пусть вернется!

Ну, а вы, вы-то что сцепили зубы, Лазарь Моисеевич? Песня наша не нравится или переживаете? Чего вам переживать? Отца вы знать не знали, а ее, глупую, разлюбившую, ту, что даже сына вам родить не удосужилась, стоит ли жалеть? Да, не стоит. Да, глупая. Разлюбила, променяла на подонка, карьериста, на беспринципную сволочь, потеряла рассудок, не видит, что не она вовсе нужна Петухову, а виза в Израиль, а останься он тут, на своем руководящем посту, он на нее, на евреечку, и плюнуть бы побрезговал. Дура сумасшедшая, но... пусть вернется!

Пусть они все вернутся, все, кого мы потеряли по собственной вине, по легкомыслию, слепоте, трусости или равнодушию, кого не захотели вовремя понять, не сумели защитить, простить, не смогли удержать, и вот уже подхватила их и, крутя, всосала черная воронка – прошлое.

Сколько таких «черных дыр» на пути, пройденном каждым из нас? Они не зарастают травой, их не заносит песком, не засыпает снегом, они не заживают, становясь рубцами. А между тем, и старость недалеко. Все быстрее проходят долгие зимы и мелькают короткие весны, все чаще и длиннее бессонные ночи. Скоро будет поздно.

Пусть они вернутся, мы ждем, мы не забыли и уже никогда не сумеем забыть их. Пусть вернутся!

Анна плачет, ревет в голос, Дуся скупо и вороватенько крестится, с опаской поглядывая на мужа, а Семенов – тот всюду разошелся. Голос у него громкий, он везде хорошо поет, хоть на сцене, хоть в строю. И Наталья Ивановна подпевает, выводит тоненько и чисто, с переливами.

Застыла с сухими глазами вдова Марья Сидоровна Тютинна. Нет, не может быть того, чтобы так все и кончилось – этим гробом и дождем за окнами. Ведь не для холодного глухого мертвеца, чужого и молчаливо-враждебного, поют сейчас Семенов с Натальей. Он их и не слышит. А Петр Васильевич Тютин обязательно слышит.

Марья Сидоровна не плакала. Теперь она наверняка знала: в этом страшном ящике Петра нет.

Проехали Сенную площадь.

...Сколько жить-то осталось? Ну, год еще, ну – два...

Через две зимы... Ничего, она подождет, потерпит, в войну больше ждали. Ничего... А пока все правильно. Так он хотел.

Так велел. Все сделала. Выполнила.

«...Через две, через две весны...»

Червец

*Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно – своею.*
Анна Ахматова^[62]

Глава первая

Ленточное существо

Утром четвертого января 197... года где-то перед рассветом Павел Иванович Смирнов увидел в своей комнате гигантского ленточного червя, точь-в-точь такого, какой однажды приснился ему в детстве в страшном сне.

В полной тишине и темноте, кое-как нарушаемой только слабым отсветом, падающим из окна, белый, как вафельное полотенце, и такой же широкий червяк неожиданно появился из-под плинтуса и, извиваясь согласно своей природе, потянулся через всю комнату к обеденному столу. Он тянулся, тянулся и тянулся, а Павел Иванович замирал и ждал, когда

же и чем он кончится, точнее, когда прервется этот дурной угнетающий сон, потому что Павел Иванович точно знал: это сон.

Однако червяк определенно существовал. Павел Иванович успел осознать, что сам он – все-таки бодрствует, сесть на тахте, поджать ноги, посмотреть на часы, вспомнить в подробностях свой детский ночной кошмар и то, что за ним последовало в жизни, – а между тем все новые и новые метры «полотенца» непреклонно лезли из-под плинтуса. Нет, иначе не скажешь: и шириной, и толщиной червь был самоходным вафельным полотенцем, и, тем не менее, это был живой червяк, потому что, хотя пока и неизвестно было, чем он когда-нибудь кончится, начинался он, несомненно, головой: утолщение вроде кабачка было прикреплено к широкому туловищу беззащитно тоненькой шеей. Эта же самая или очень похожая голова была, помнится, и в детском кошмаре.

Достигнув стола и безо всякого затруднения вползя на него первыми метрами тела, в то время, как последние все еще оставались под плинтусом, червяк начал рыскать безобразным своим кабачком вправо и влево и, обнаружив масленку, принялся вылизывать ее длинным, раздвоенным, как у змеи, языком. Впрочем, не будучи силен в биологии, Павел Иванович не взялся бы с уверенностью утверждать, что это – язык, зуб, или вообще жало. Сидя на диване, он смотрел на животное, и ощущение нереальности происходящего не давало ему окончательно испугаться или даже как следует

удивиться.

Между тем, покончив с масленкой, червяк потянулся к хлебнице, и Павел Иванович совершенно некстати с раздражением подумал, что ведь сто раз обещал себе убирать после еды продукты, мать терпеть не могла сохнувших корок, она бы... но тут червяк неожиданно дернулся и съехал со стола, громко стукнув головой об пол. Как будто его тянули где-то за хвост, он начал укорачиваться, метр за метром уезжая обратно под плинтус, пока дело не дошло до головы, которая не пролезала в щель, однако в конце концов, неожиданно сдавшись, сделалась абсолютно плоской, как лопнувшая футбольная камера. И исчезла.

Пожалуй, только тут Павел Иванович окончательно понял, что не спит. Он встал с дивана и босиком подошел к окну, несмотря ни на что, уверенный: увидит только темный, засыпанный снегом, пустой двор. Однако увидел дворника, который, стоя под самым его окном, сноровисто наматывал на какой-то барабан нечто, похожее на необычной ширины белый пожарный шланг. Закончив работу, дворник с трудом поднял барабан на плечо и зашагал прочь, глубоко проваливаясь в нерасчищенные сугробы.

Временно направлен

В полдень по двору, как обычно, мотались три омерзительных черных кота. То и дело перебегая узенькую тропин-

ку, протоптанную в нападавшем за ночь снегу, они топорщили шерсть и мерцали желтыми глазами. Дворник Максим этих котов игнорировал, так же как и подведомственные ему сугробы. Повернувшись ко двору спиной, он сидел ватным задом на ледяных ступеньках, скользящих вниз, в подвал, курил сигарету и слушал транзистор. В настоящий момент приемник быстро лопотал на английском языке, дворник же время от времени покатывался со смеху. В это время снова пошел снег, нарочито падая мокрыми хлопьями на плечи Максима. Падал он и на тропинку, по которой, путаясь в котах, осторожно пробирался Павел Иванович с жухлым портфелем.

Привлеченный голосом транзистора, он разглядел за неразберихой хлопьев неподвижного дворника и приблизился.

– Здравствуйте, – сказал он ватной спине, подойдя вплотную.

Дворник тотчас поднялся и повернул к Павлу Ивановичу свое красивое, породистое лицо, на котором обозначилось вежливое недоумение, что-то вроде «чем могу служить, милостивый государь?»

Интеллигентность дворника обескуражила Павла Ивановича, и, оробев, он некоторое время молча смотрел в черные, подернутые тоской глаза. Потом все же спросил:

– Вы мне не скажете, что это было? Ночью? А то у меня такое ощущение, будто я... видел галлюцинацию. Я имею в

виду червяка, которого вы потом...

Дворник иронически усмехнулся:

– Можете считать, что вам приснился научно-фантастический сон. Science fiction. Не более того. Вы меня поняли?

Павел Иванович понял. Понять было не трудно. Он знал, что дворником сидящий перед ним человек работает временно, а постоянное место его работы – научно-исследовательский институт, расположенный в соседнем здании^[63]. О том, чем там занимаются, ходили разные слухи, но сотрудники, многие из которых жили с Павлом Ивановичем в одном доме, хранили многозначительное молчание, имея при этом весьма достойный вид, что говорило само за себя. Поэтому никаких вопросов Павел Иванович ученому дворнику задавать не стал, но и уходить тоже не хотелось, – этот парень чем-то ему нравился, ужасно был симпатичен, и Павел Иванович сказал:

– Вас понял. Разумеется, это был сон. Но знаете, что удивительно: ведь я и в самом деле однажды видел точно такой же сон. В детстве. Это было в самом начале войны, накануне того дня, когда мой младший брат...

«Боже мой, – с грустью думал Максим, слушавший Павла Ивановича вполуха, так как мысли его были заняты совершенно другими проблемами, – Боже мой! Зачем мне все это знать? Для чего он силком пихает мне в башку ненужную информацию? Детские сны, младшие братишки... Чисто российская наша черта – сентиментальность. И убежденность в

том, что тебе – до всех дело и всем – сплошной кайф обсуждать твои семейные обстоятельства...»

По-видимому, эти соображения довольно четко проявились на выразительном лице дворника, потому что Павел Иванович, споткнувшись на слове «бомбоубежище», краснея, пробормотал:

– Впрочем, это неинтересно. Да мне и пора. Так что всего наилучшего.

Снег продолжал валиться с вызывающей настырностью. Максим опять включил приемник и стал под музыку размышлять о том, что если сегодня к вечеру не будет оттепели, завтра ему, пожалуй, влепят выговор.

Временно направлен... Конечно, дворников в городе пока еще недостаточно^[64]. Пока... Рост духовных запросов с неизбежностью привел к тому, что никто на эту работу идти не желает, считая ее недостаточно творческой. По мнению же институтского начальства, ситуация наблюдается такая: по чистым улицам ходить хотят все, а работать – никто. Примерно в этом духе высказался заведующий лабораторией профессор Кашуба Евдоким Никитич, когда Максим заявил ему:

– Сколько можно? Почему опять я? В августе кто в колхоз ездил?

– Стыдно, Лихтенштейн, сколько можно выкручиваться? Скверная это у вас у всех привычка. Ведь знаете, что Гаврилов сейчас оформляет документы в Брюссель на конгресс.

– Да при чем здесь Гаврилов?

– А Лыков болен... Что же вы хотите, чтобы я сам?.. –

И пошел, и пошел. Говорил пятнадцать минут, после чего, изобразив на лице невероятную скорбь, удалился, и в тот же вечер улетел во Францию, куда был командирован, чтобы сделать сообщение на тему «К вопросу о червях как объектах бионики».

Автор текста этого доклада, ответственный исполнитель важной для престижа института работы по проблеме «Червец» старший научный сотрудник Максим Лихтенштейн после короткой, но громкой беседы в отделе кадров дал добровольное согласие отработать месяц на уборке снега в институтском дворе и – обязательно! – во дворе соседнего жилого дома («мы должны помочь городу»). В этом доме, как уже говорилось, в большом количестве проживали сотрудники института, в том числе сам профессор Кашуба с женой, разведенной дочерью Верой и двумя внуками.

Ввиду того, что все без исключения сколько-нибудь квалифицированные научные работники из лаборатории Кашубы, не считая больных, действительно разъехались собирать материалы, выслушивать доклады, заимствовать опыт, словом, делать все возможное, чтобы в короткий срок ликвидировать свою неосведомленность в вопросах червей, громадный белый червяк, из-за которого разгорелся сыр-бор, остался на руках Максима. В порядке исследования тот должен был утром и вечером питать животное различными смесями,

а раз в сутки производить кое-какие замеры, совмещая научную деятельность с уборкой снега и льда. За это профессор Кашуба обещал Максиму отпуск в летнее время.

Лихтенштейн?..

Кандидат наук Максим Ильич Лихтенштейн давно уже не удивлялся и привык почти не огорчаться по поводу того, что другие ездят по заграницам, а он – нет^[65]. Максим Ильич был не идиот. И уже целых тридцать семь лет – не грудной младенец. Тем не менее, согласитесь, слегка тоскливо собираться в четвертый раз «на картошку», зная, что тот же Гаврилов опять оформляется в Брайтон, а Лыков нехотя разезжает в гондоле по каналам Венеции. Максим согласен был бы еще все то время, которое коллеги с несомненной пользой для дела проводят за рубежом, отдать науке, но где там! Именно ему, как наиболее свободному, почему-то всякий раз напоминали, что он ест капусту, лопает брюкву, жрет в громадных количествах картошку и другие корнеплоды, да теперь вот еще и разводит во дворах сугробы и культивирует обледенение тротуаров.

Максим знал, что теоретически он имеет возможность совершить заграничную поездку, но – увы – только в один конец^[66]. Там уж будет все – Плас Пигаль и статуя Свободы, и Колизей, и Стена Плача – выбирай на вкус. Зато там не будет многого другого, без чего, как это ни странно, Максим Ильич Лихтенштейн плохо мог представить свое существование: вот этого насупленного города или даже – можете

смеяться! – деревеньки с некрасивым названием Смердовицы, куда он в течение нескольких лет постоянно выезжал на полевые работы. Какое, казалось бы, Лихтенштейну дело до Смердовиц? А вот поди ж ты, замирало и вздрагивало что-то в душе, когда, выйдя с рюкзаком из автобуса, он видел мягкую, поросшую муравьей тропинку, протоптанную вдоль улицы, и кривые черные домики, и поля.

Эту свою способность мгновенно раскисать при виде стога сена или покосившейся избы, крытой дранкой, Максим считал слабостью и прятал от посторонних глаз, однако отдавал себе отчет в том, что такому, как он, нечего и думать о переезде в другие места, даже если эти места – Плас Пигаль или, допустим, Бронкс.

А между тем вот, что забавно: он ведь, вполне вероятно, мог бы гулять с советским паспортом среди Елисейских полей ничуть не хуже Лыкова с Гавриловым, или даже самого Кашубы. Мог бы... Если бы знал то, чего по воле судьбы ему узнать не удалось.

Дело в том, что двусмысленная для некоторых и кристально ясная для людей, специально, по долгу или в качестве хобби занимающихся этим вопросом, фамилия Лихтенштейн, исключаящая, по мнению замдиректора по кадрам Пузырева^[67], командировки за границу и высокие посты, а также делающая нелепыми слезы, вызываемые видом колодца-журавля, эта фамилия досталась Максиму совершенно случайно.

Как часто происходит в фильмах и книгах про войну, а впрочем, не раз бывало и в жизни, Максим в первых числах июля сорок первого года в возрасте восьми месяцев оказался один на пустой улице города Минска, где был подобран неизвестным солдатом и сдан в детский дом, который сразу эвакуировался за Урал. Само собой, ни имени, ни фамилии ребенка солдат знать не мог. И вот неизвестный солдат принес неизвестного младенца в некий детский дом и сдал, заявив незнакомой женщине, заполнявшей какой-то журнал, что мальчика, дескать, зовут Максимом, фамилия Лихтенштейн, а его, солдата, имя – Илья. Почему он так поступил, остается только гадать. Скорее всего, думал, что Максим – хорошее имя, а война скоро кончится, он заберет мальчика из детдома и уж как-нибудь отыщет его родителей, и те пускай называют своего ребенка, как положено. Но почему – Лихтенштейн, а не, скажем, Иванов или Ухов? Возможно, этот солдат Илья был любознательным чудаком, и его манили дальние страны – княжества Монако, Андорра, Лихтенштейн? А скорее всего, он просто решил, что второго младенца с такой примечательной фамилией на всей территории Советского Союза не окажется и, следовательно, найти его по окончании войны будет делом несложным. Все возможно... Но правды теперь не узнать: солдат Илья с войны не вернулся, неизвестный же мальчик проживает на свете в качестве Максима Ильича Лихтенштейна, бывшего детдомовца, а ныне старшего научного сотрудника, кандидата техни-

ческих наук. Проживает он, в общем, совсем неплохо, много, как видите, достиг, а если по кому иногда и тоскует, о ком думает, сидя вечером один в кооперативной однокомнатной квартире, так это о своих потерянных родных, которых много лет безуспешно искал с помощью милиции, радио, газет, военкоматов, но, конечно же, не нашел.

Впрочем, с каждым годом тоска по родным приобретает все более абстрактно-безнадежный характер, гораздо актуальнее другие проблемы, например, хотя бы женитьба, ибо, как любит повторять Ирина Трофимовна Гольдина: «Двадцать лет – ума нет и не будет, тридцать лет – жены нет и не будет». А Максиму Ильичу, как мы уже здесь обмолвились, – тридцать семь^[68].

Совершенно секретный

Когда Максим велел этому интеллигенту считать ночную встречу с червяком страшным сном и не задавать вопросов, он поступил совершенно правильно. И строго по инструкции. Пресмыкающийся объект был строго засекречен, и всякие разговоры о нем с посторонними грозили Лихтенштейну неприятностями. Да что разговоры! Сам факт бесконтрольного ползания объекта по чужому двору был достаточен, чтобы Максима как минимум отстранили от научной работы по проблеме «Червец» и вклеили «строгача». С одной стороны – это было бы к лучшему, с другой же... Все-

таки обидно, так как Максим Ильич с полным правом считал себя основоположником этой проблемы.

Однажды у него «убежали» часы, и он явился на работу на полчаса раньше, чем нужно. Проходя по пустому институтскому двору, он сперва удивился, а потом испугался. Удивился, что не встречает никого из сотрудников, а испугался, так как решил, что сильно опоздал, а это сулило тошнотворную беседу с профессором Кашубой о трудовой дисциплине, которая обязательна для всех, начиная с уборщицы и кончая директором. Однако вскоре Максим удивился и испугался одновременно: он увидел, что в углу двора, где была сделана выгородка для выбрасывания отходов, что-то интенсивно шевелится. Взлетали блестящие кудри металлической стружки, какие-то колбы со звоном ударились об асфальт и раскалывались в мелкие дребезги – свалка буквально ходила ходуном.

«Крысы», – догадался Максим. Крыс он боялся панически, и это было еще одной его постыдной слабостью.

Однако, взглядевшись, он увидел не крыс, а увидел он нечто белое и плоское, похожее по виду на длиннущее полотенце, которое вдруг ожило под мусором и хочет выбраться на волю. Полотенце извивалось с невероятной энергией и активностью. Максим подошел к помойке вплотную и, не будучи от природы брезгливым и трусливым (если дело не касалось крыс!), протянул руку и прикоснулся к извивающемуся предмету.

Предмет был теплым. От прикосновения он мгновенно замер, и тут Максим увидел, что из кучи мусора пристально смотрят два живых блестящих глаза, близко посаженных на округлой голове, похожей на крупного размера кабачок. И в то же мгновение голова вдруг сделалась плоской, глаза исчезли, – полотенце и полотенце, хоть вытирайся.

Дальше события развивались следующим образом: во дворе появился Евдоким Никитич Кашуба. Он всегда приходил на работу на десять минут раньше всех, чтобы иметь возможность в любое время сказать подчиненным: «Вот оно, ваше рвение в кавычках, – в институт прибегаете со звонком, по звонку же и выбегаете. А я почему-то прихожу за полчаса и ухожу на час позже. Почему, как вы думаете?..»

Итак, следовавший с портфелем мимо свалки профессор Кашуба был остановлен Лихтенштейном, который показал ему невероятный феномен, деловито роющийся в отходах производства. Лихтенштейн сказал, что, мол, надо бы сейчас же позвонить в зоопарк и вызвать оттуда спецтранспорт, пускай забирают. Но заведующий лабораторией, подумав всего секунду, дал команду не звонить и не вызывать. Дело в том, что как раз сегодня на Ученом совете должен был обсуждаться план исследований лаборатории на будущий год, а старых заделов, равно как и новых идей, во вверенном профессору подразделении, к сожалению, не было. В перерывах между поездками в колхоз и командировками по внедрению давнишних разработок сотрудники едва-едва успевали писать

научные отчеты, для чего постоянно использовался один и тот же универсальный фолиант, составленный лет шесть назад. Автором этого шедевра являлся некий Гольдин, теперь уже силком отправленный на заслуженный отдых, и – зря, потому что он обладал уникальным талантом облекать в научную форму любую чепуху, будучи искренне убежден, что приносит пользу.

Одним взмахом красной шариковой ручки Гольдин умел изобразить великолепный график – кривую, идущую неуклонно вверх, и тут же придумать к этому графику серьезное научное обоснование. Составленный им толстый отчет сотрудники называли «гробом», что не мешало им в конце каждого квартала буквально драться из-за него. Профессору Кашубе Гольдина очень не доставало, он никогда в жизни не расстался бы с ним, да что поделаешь, – подоспела кампания по отправке на пенсию, а Евдоким Никитич давно усвоил, что в каждой кампании очень важно быть первым. Хочешь – не хочешь, а пришлось уволить старика Гольдина и вместе с ним еще троих вполне дееспособных работников...

Так вот, на сегодняшний день с тематикой было неважно, как говорила лаборантка Люся, – «полный завал», и, увидев червяка, Кашуба послал Лихтенштейна за слесарем. Слесарь Денисюк Анатолий был человеком неопределенного возраста и неопределенного внешнего вида, но вполне ясных и отчетливых убеждений. Явившись на зов начальства, он кинул беглый взгляд на червя и, не выразив ни малейшего удивле-

ния, расплывчатым голосом сказал, что так – не получится, – надо, на хрен, звать такелажников, а они, на хрен, не пойдут.

– Пойдут, – успокоил его Максим и через три минуты сам привел двоих такелажников, в пути пообещав им по сто граммов спирта^[69].

Оживившись при виде рабочей силы, Кашуба приосанился и скомандовал:

– Отловить... м-м... объект. Доставить в зал Ученого совета.

Что и было исполнено, но количество спирта пришлось удвоить.

– Обидим людей – в другой раз ни хрена не отловят, – пригрозил Денисюк, явившись к Кашубе от имени такелажников с пустой молочной бутылкой, – они, на хрен, так и сказали: по сто грамм, это, извиняюсь, только курей щекотать. Можно гидролизный, хрен с ним.

Кашуба налил четыреста граммов, и Денисюк молча удалился.

До конца рабочего дня ни его, ни такелажников никто нигде больше не видел.

Когда открылось заседание Ученого совета, профессор Кашуба сделал краткое сообщение о том, что во вверенной ему лаборатории впервые в мире синтезировано из отечественных материалов и теперь всесторонне исследуется квазиживое существо – червяк ленточный теплокровный, ориентировочная длина – 14 600 миллиметров, ширина около

трехсот, толщина два и четыре десятых; до сих пор лаборатория, как известно, занималась исключительно вопросами применения пластмасс для изготовления деталей машиностроения, но возросшее значение проблемы охраны окружающей среды^[70], подчеркнутое в директивных документах, заставило коллектив встречно взять на себя большую и ответственную задачу и, как показывают факты, – не напрасно: налицо приоритет, а высокий научно-технический уровень наших сотрудников позволит нам и впредь смело и своевременно браться за любые проблемы, поставленные соответствующими Решениями^[71], учитывая вышеизложенное, а также особую важность и чрезвычайную ожидаемую полезность предлагаемой работы для нужд народного хозяйства в целом, а возможно, и для оборонной промышленности, следует настаивать на ее немедленном включении в план и финансировании, на выделении для лаборатории двух дополнительных штатных единиц и помещения, короче, на создании условий для эффективной и бесперебойной работы, спасибо за внимание.

Правду сказать, поначалу далеко не все члены совета слушали профессора Кашубу с должным рвением – взгляды их были гипнотически прикованы к столу, на котором слабо шевелилось сложенное в несколько раз и упакованное в полиэтиленовый мешок упомянутое синтетическое как бы живое существо.

Директор же института, которому надлежало сидеть за

этим столом в качестве председателя, предусмотрительно ушел во второй ряд и устроился там, открыв форточку: ему, дескать, жарко и нечем дышать.

Когда профессор Кашуба изложил все, что хотел, в зале на некоторое время воцарилось ошарашенное молчание. Сотрудники недоуменно переглядывались. Затем один до крайности въедливый старичок, профессор Лукницкий из конкурирующего отдела, спросил, какое все же отношение имеет к полимерам и машиностроению эта... м-м... словом, то, что шевелится сейчас в мешке.

В ответ докладчик повернулся к директору и веско заявил, что давно собирался обратить внимание руководства на тот факт, что личная неприязнь, доходящая до неприличия, и даже законная ревность к успехам коллег никак не должны бы мешать работе, что склоки, как известно, погубили не одно ценное начинание, в то время как... и пошел, и пошел...

– Понесло... – тоскливо зашущукались в рядах.

Лукницкий был вынужден нехотя сесть и затаиться.

Когда шум в зале стих, а Кашуба завершил свою речь словами «положить окончательный конец», директор постучал своим «Паркером» по стеклу форточки и попросил профессора рассказать, по какой технологии и за сколько времени удалось создать этот... уникальный образец. Кашуба приосанился и не моргнув глазом доложил: работы ведутся уже достаточно давно, однако, заметьте, – без финансирования, на

экономленном сырье и за счет личного времени сотрудников. Вот хотя бы товарища Лихтенштейн.

При этих словах молодые кандидаты наук супруги Валерий и Алла Антохины, сидящие в пятом ряду, переглянулись, и Валерий сказал жене, что вот, обрати внимание, Макс вечно ходит в ущемленных, а Кашуба, между прочим, его везде выпячивает, обрати внимание.

– Обратила, – сказала Алла, – особенно он его выпячивает, когда надо ехать в колхоз или на овощебазу. А что в ущемленных – это верно, только они ведь все на этом зациклены, помнишь Гольдина?

Еще бы Валерию не помнить старика Гольдина! Такой скандал учинил, когда провожали на пенсию, орал везде, что – из-за пятого пункта^[72], а то, что в шестьдесят шесть лет пора освободить место молодым, ему в голову не приходило.

Пока Антохины обменивались мнениями, Кашуба сообщил: да, пришлось повозиться, применить кибернетику, а что касается технологии, то, хотя перед Ученым советом сейчас находится всего лишь опытный образец, нуждающийся в существенной доработке по результатам стендовых и эксплуатационных испытаний, для проведения которых требуется время, время и время, и конечно же...

– Деньги, деньги, деньги, – тоненьким голоском добавил Лукницкий.

Кашуба слегка посуровел и сказал, что делать сообщение по технологическим параметрам процесса он пока считает

преждевременным, так как эту работу, ввиду ее исключительного значения – вы понимаете? – следовало бы засекретить и проводить обсуждение технологических тонкостей и результатов испытаний только в присутствии товарищей, имеющих к ней прямое отношение.

Зал притих, и тут, грохнув откидным сиденьем, из рядов вылез заместитель директора Василий Петрович Пузырев. На протяжении всего заседания он оставался невидимым (была у него эта скверная привычка – время от времени исчезать), но теперь внезапно обнаружился. Он молча прошел к стене, где висели плакаты, приколотые Аллой Антохиной, руководитель которой должен был делать сообщение сразу после Кашубы. В полной тишине Пузырев сорвал один из плакатов, потом, подумав, – еще два и заботливо прикрыл ими заветный мешок. Подумав еще, вынул из кармана зеленый фломастер и вывел поперек одного из плакатов «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО, ЭКЗ. № 1». Потом внимательно оглядел присутствующих (в результате чего несколько человек на цыпочках вышли из зала) и, так и не проронив ни слова, вернулся на свое место. Скрипнул стулом. И исчез.

Гора

Заседание Ученого совета продолжалось в тот день до четырех часов с перерывом на обед. Работу над пресмыкающимся единогласно решили включить в план под кодовым

названием проблема «Червец». Почему – «Червец»? Неизвестно. Да и не все ли равно?..

Максим Лихтенштейн, не являясь членом совета, участия в голосовании не принимал, а профессор Лукницкий руки не поднял из принципиальных соображений, но это никого не смутило, кроме разве что Василия Петровича Пузырева. Скрипнув стулом, Василий Петрович сделал соответствующую пометку в своем блокноте, держа его на коленях, что – неудобно, но он привык записывать не только сидя в зале. Он умел записывать и стоя, и лежа, и в всяческом положении, и в прыжке.

Короче говоря, решение по проблеме «Червец» было принято единогласно.

Максим сидел в последнем ряду, и настроение его по мере хода заседания менялось. Эх, и отличный же график мог бы получиться, если бы, наблюдая за Лихтенштейном, некто откладывал на оси абсцисс время, прошедшее от начала заседания, а на оси ординат – степень возбуждения, охватившего Максима Ильича! Получилась бы вполне наукообразная кривая, сразу стремительно скакнувшая вверх до экстремальной точки, затем образовавшая горизонтальную площадку, начинавшуюся в тот момент, когда слово взял профессор Кашуба, и кончавшуюся падением где-то перед началом голосования, то есть, когда результат всем уже ясен.

Назвать состояние Максима просто возбуждением недостаточно. Это на первых порах было изумление, крайняя его

степень. Казалось бы, прожив на белом свете тридцать семь лет, из которых последние тринадцать были отданы научной работе под руководством профессора Кашубы, Лихтенштейн ко всему бы должен привыкнуть, а нет – дебаты по поводу червяка, найденного им на свалке, прямо-таки потрясли его и заставили некоторое время просидеть с оцепенелым лицом. Вид у него был странноватый, так что потом, в перерыве, к нему подошла Алла Антохина и сказала, что, конечно, рада за него, но зачем уж так балдеть от гордости, можно бы и поскромней.

Алла была известной физиономисткой.

Пока Максим «балдел», в голову ему приходили разные мысли, вплоть до самосожжения: встать, например, и заявить, что все это – липа, червяк найден на свалке, и лично он, Максим Лихтенштейн, никогда не примет участия в таком циничном надувательстве и залепухе.

Но зачем понапрасну дразнить собак? Чего бы он этим добился? Допустим невероятное: Кашуба посрамлен. И дальше что? А дальше то, что, вполне вероятно, научному работнику со звучной фамилией Лихтенштейн придется искать новое место службы, что в наше время не так-то просто, а гарантии, что на новом месте, будь это хоть артель «Химчистка», не найдется точь-в-точь такого же «Червеца», – ни малейшей.

Черт с ним! В конце концов, «у каждого Абрама – своя программа», – подумал Максим, имея в виду своего руководителя. – И хуже ли исследовать безобидного червяка, чем,

выбрав себе в жертву какое-нибудь наивное провинциальное предприятие, доить его под предлогом совместной работы по хоздоговору? Пускай болтают, вон Кашуба – аж раскраснелся, а директор, вдруг осмелев, подошел к столу поглядеть на «опытный образец». Ладно. Посмотрим, как они потом выкрутятся, выкручиваться, между прочим, придется им, а не исполнителю. Не впервой.

Тут кривая Максимовых эмоций стала падать и быстро дошла до нуля, то есть до абсциссы. Ему сделалось неинтересно, он опустил голову на грудь, что было тут же отмечено Аллой: «Делает вид, что ему безразлично, нет, я так не умею!» – и отключился.

У Максима был давно отработан способ отключаться в любой обстановке, он изобрел его еще в детдоме и использовал особенно эффективно, когда его вызывал тамошний директор и, усадив на стул, начинал заунывно выговаривать по поводу курения или драки. Слова про государство, которое «все сделало для таких, как ты», про неоплатный долг, про младших товарищей, берущих дурной пример, эти неплохие, но очень обкатанные, звучные слова, булыжниками бросаемые в большую бритую голову воспитанника Лихтенштейна, меняли траекторию, не долетев до его слегка оттопыренных ушей. И уносились прочь. Они уносились далеко-далеко, за поля и леса, и там со всего размаху падали. Громадная гора, вся состоящая из таких вот словесных булыжников, уходила высоко в небо, а на самом верху ее сидел чер-

ный ворон и кричал каждому вновь поступившему камню: «Вр-р-решь! Вр-р-решь! Вр-р-решь!»

Эту гору, изобретенную в детстве, Максим использовал до сих пор: представлял себе в нужных случаях, а нужный случай возникал каждый раз, как только приходилось беседовать с уважаемым Евдокимом Никитичем. Профессор Кашуба обладал примерно тем же словарным запасом, что и детдомовский директор, и одним из любимейших мотивов его речи был неоплатный долг. Слушая профессора много лет подряд, Лихтенштейн постепенно пришел к выводу, что гора, пожалуй, состоит не из одних булыжников – еще из комьев давно засохшей глины, а то и еще чего... похуже.

«...Таким образом, согласно программы, согласованной с согласующими организациями...» Гора росла и росла. Новые комья мягко валились на нее с грязного низкого неба. Растрепанный ворон издевательски разевал клюв и выкрикивал «Вр-р-решь!» так, словно матерился.

Павел Иванович и его соседи

Отгульный день, начавшийся встречей с секретным гадом, продолжался. Павлу Ивановичу сегодня, слава Богу, некуда было торопиться, никаких дел он себе не наметил, поэтому не спеша, как говорится, нога за ногу, брел кружным путем к булочной, не столько по необходимости купить хлеб, сколько из желания прогуляться.

День сегодня был странный – казалось, что-то произошло со временем. Конечно, оно двигалось, и будто даже в правильном направлении, но чрезвычайно медленно, нехотя. День ковылял на отечных ногах, поминутно делая остановки, чтобы отдышаться, поглазеть по сторонам, одним словом, не спешил. Не спешил и Павел Иванович, пробираясь сквозь снежный туман, туго забивший плотной сырой массой улицы и переулки, впадающие во Владимирский проспект, где находилась булочная. Фокусы времени абсолютно устраивали Павла Ивановича – вечер ему был не нужен, поскольку вечером вернуться с работы его квартирные соседи Антохины, а встречаться с ними Павлу Ивановичу было неприятно – он их ненавидел.

Ненависть – совсем не обязательно оглушительно жгучее чувство, от которого замирает в груди, в то время как взор застилает белое пламя. С Павлом Ивановичем, во всяком случае, все происходило иначе. Когда он видел кого-нибудь из Антохиных, то не вздрагивал, не кричал, и в глазах у него не белело... Но каждый раз ноги делались неподъемными, как сырые дрова, в плечах начинало мозжить, во рту пересыхало, а душа наполнялась невероятным омерзением ко всему живому и в первую очередь – к себе самому. Это было очень тягостное чувство, и оно, к несчастью, делалось все сильнее, все отчетливее по мере того, как уходил в прошлое день, когда Павел Иванович проводил свою мать в психиатрическую больницу.

Жизнь в одной комнате коммунальной квартиры с больной, потерявшей рассудок, но сохранившей много физических сил старухой была, разумеется, довольно сложной. Полгода назад после очередного гипертонического криза мать внезапно перестала его узнавать; когда он приходил с работы, кричала: «Ты – кто? Где Павел? Когда вернется?» Потом начала отказываться от еды, заявив, что ее хотят отравить. Прячала под матрацем какие-то куски и тайком съедала их по ночам. Все это было так страшно и так на нее не похоже, что Павел Иванович совершенно растерялся. Еще позднее начались крики по ночам – матери казалось, что ее пытаются задушить, она вскакивала с постели, в одной рубашке бегала по квартире и рвалась к соседям. Было многое еще, чего не хочется вспоминать, но Павел Иванович готов был терпеть все: это была его мать, все свои сорок с лишним лет он прожил с ней вдвоем, ближе для него человека на свете не было.

Но Антохиным она матерью не приходилась. И вот после очередной бессонной ночи они объявили Павлу Ивановичу, что больше выносить этого не могут, они все понимают и даже сочувствуют, но хотят жить в нормальной обстановке и ночью спать, а не слушать дикие вопли. Антисанитария в туалете и в ванной их также крайне не устраивает, и вообще от такой жизни они сами скоро попадут в психушку, а у них – ответственная научная работа. Павел Иванович растерянно их выслушал и сказал, что приносит свои извинения, но... как же ему-то быть? Он ведь вызывал к матери врачей, все в

один голос говорят: помочь тут ничем нельзя – склероз.

– А вот моей маме за шестьдесят, а она в поле работает. И довольна, – задумчиво сказала Алла.

Павлу Ивановичу возразить было нечего, и он опять беспомощно и виновато спросил, что же они ему посоветуют.

Антохины переглянулись, потом Валерий, слегка замявшись, произнес:

– Понимаете... конечно, все это тяжело, но... нам кажется, что правильнее всего было бы поместить Татьяну Васильевну в... больницу.

– В какую больницу? – поразился Павел Иванович. – Вы же знаете: стариков в больницы не берут, тем более таких – хроников.

– Это в обыкновенные не берут, а есть специальные. Ну... когда такое... с рассудком... – шепотом сказала Алла.

– Вы имеете в виду сумасшедший дом? – осведомился Павел Иванович. – А интересно, свою мать вы бы отдали в сумасшедший дом?

– Конечно, – убежденно ответил за жену Валерий. – Для ее же пользы.

– А вот я, представьте себе, свою мать не отдам. И давайте кончим этот разговор, – с этими словами Павел Иванович вышел из кухни, и недели две никаких разговоров действительно не было. Если ночью случался шум, на следующий день соседи ходили с мрачными лицами и здоровались с особой церемонностью. А Татьяне Васильевне меж-

ду тем на глазах становилось все хуже. Она почти перестала членораздельно говорить, но оставалась очень живой и подвижной. Могла без передышки сновать по квартире, оставляла открытыми водопроводные краны и, что гораздо хуже, несколько раз – газовые.

Павел Иванович взял две недели за свой счет и занялся обменом. Доплатив и потеряв метраж, он надеялся обменять свою комнату в центре на любую однокомнатную квартиру в любом районе. Пусть без ванны, без телефона, пусть шестой этаж без лифта, пусть далеко от работы, только – отдельно. Он развесил по всему городу объявления, но скоро стало ясно: затея обречена на провал – никто не хочет ехать в коммуналку, да еще – в первый этаж. А отпуск кончился, и тут в один прекрасный день в квартире появилась молоденькая медсестра из психдиспансера. Пришла она в отсутствие Павла Ивановича, и он, вернувшись, застал ее уже в передней оживленно беседующей с соседями. Когда Павел Иванович вошел, все замолчали, потом сестра, глядя на него почему-то с осуждением, сказала:

– Больная дементна, это – очевидный факт.

Ничего не ответив, он прошел мимо, и с того дня посетители являлись друг за другом. То – из райздравотдела, то жильцы-общественники, наконец, пожаловал представитель института, где работали Антохины, и, качая лысой головой, долго объяснял Павлу Ивановичу, что дом, по существу, ведомственный, что уже давно стоит вопрос о пересе-

лении всех, кто, проживая тут, не служит в институте, Антохины – научные работники, кандидаты наук, так что, товарищ, послушайте доброго совета: устройте матушку в лечебницу для душевнобольных, институт поможет, туда берут престарелых, если они... социально опасны, а думать нужно не только о себе, но и о людях, которые живут рядом с тобой и своим трудом приносят немалую пользу государству, перед которым мы все в неоплатном долгу... Павел Иванович выставил представителя за дверь, а еще через день мать, оставшись дома одна, распахнула окно во двор, кричала, собрала толпу и пыталась выброситься с первого этажа. В общем, все кончилось именно так, как мечтали Антохины, – Скорой помощью, подоспевшей одновременно с Павлом Ивановичем, возвращавшимся с работы, и санитарями, связавшими Татьяне Васильевне руки, поскольку она дралась с ними, как говорится, до последнего, и только уже в больнице вдруг затихла и внятно произнесла:

– Павлик, я не хочу. Не надо. Пойдем домой, лучше умереть.

Больше после этого она ему уже ни одного слова не сказала, хотя он навещал ее каждую неделю. Не жаловалась, не плакала, только худела и слабела. Врачи Татьяну Васильевну хвалили: тихая старушка, никаких хлопот. Ясно – никаких, если три раза в день – лошадиные дозы лекарства...

Вот так все и получилось. Может, и правы были соседи, когда говорили, что это – единственный выход, но видеть их

Павел Иванович теперь не мог. Поэтому очень любил по субботам работать, а отгулы брать на неделе, когда никого нет дома. По воскресеньям же дома не бывало его самого: ездил к матери, а это занимало почти весь день – больница находилась в шестидесяти километрах от города.

Так вот, сегодня как раз и был отгул и, совмещая поход за хлебом с прогулкой, Павел Иванович шел, пытаясь объяснить себе, что же это все-таки был за червяк ночью у него в комнате. И быстро пришел к такому выводу: зверь явно научный и секретный. А раз научный, то ничего невероятного и противоестественного в нем нет. Почему, в конце концов, можно запускать людей на Луну, менять русла рек и затапливать целые города, а разводить гигантских червяков – нельзя? Понадобился – и вывели. Покончив таким образом с червяком, Павел Иванович принял решение вечером пойти в кино. При этом желательно, чтобы фильм был двухсерийным.

В тот же день, возвращаясь под руку с мужем с работы, Алла Антохина страстно говорила:

– Господи, Валерка, да когда же мы, наконец, получим кооператив, не могу я больше!

– Чего не можешь, Алена?

– Видеть его, видеть – вот чего! Ведь домой идти тошно. «Добрый день», «добрый вечер», а в голосе одно презрение. Будто мы не люди, а... с его подметки грязь. Он же нас за людей не считает, не спорь! И не только сейчас, а всегда так

было. Ведь обидно: сам-то кто такой, если уж разобраться? В комнате пылица... Я, например, убеждена: человек не может называться культурным, если у него такой пол!

– Ну, ты уж... При чем здесь пол?

– Потому что противно! Скажите, пожалуйста, – барин какой. Я помню, еще маленькой была, так его мамаша тоже никогда сама полов не мыла, мы не бедней их жили, а мама за нее всегда общее пользование убирала. Заплатит – она и моет. Это такая психология, понимаешь? Последнюю копейку отдадут, без штанов останутся, а только чтобы самим не делать, руки не пачкать!

– Да. Здесь ты права, есть еще такие. Я даже как-то думал, в чем разница. Кажется, вот мы – интеллигенция, действительно, ничем не хуже его, даже в чем-то обогнали...

– «В чем-то»!

– Кстати, это нормально, что обогнали: у нас больше стимулов и жизненных сил – интеллигенты в первом поколении. У нас в генах заложено – никакой работы не бояться. В этом все дело. Тебя вот, небось, мать с таких лет приучала полы мыть, а его мамаша и бабушка, и прабабушка, поди, ни разу в руки тряпки не взяли, вот он ничего и не умеет. Не сможет, даже если очень будет стараться. Такой генетический код.

– Что значит – «не сможет»? А он хочет? Нет, ты скажи – хочет? Не хочет он, я тебе говорю! Он физический труд презирает, считает ниже своего достоинства, а какой он, если уж на то пошло, интеллигент? Интеллигент – это прежде всего

человек, обладающий знаниями. А он что знает? В филармонии ты его видел хоть раз? Или на выставке? Обломов он!

– Уж и Обломов! Много чести. Васисуалий Лоханкин – это да. И вообще, я не понимаю, что тебе за дело, как он с тобой здоровается. Мне, например, наплевать, меня такие, как он, не интересуют. Ну сама подумай: мужику за сорок, а он ничего, абсолютно ничего не добился, хотя дано ему было все. О чем это говорит? О том, что в нем есть какой-то дефект.

– Ну знаешь, судить о людях только по тому, чего они добились, – тоже мещанство. Главное не в этом, а в том, как кто себя ведет. Вот Павел ведет себя так, будто все кругом – ничто, а он – кто-то...

– Совершенно верно. А на самом деле он... ну, вроде инертной примеси, понимаешь? В реакции не участвует. Может только валяться на койке и решать «мировые проблемы». Погоди, еще два-три поколения, и таких не будет, выродятся...

– ...Нет, представляешь: возьмет с полки, что попало, и вот – лежит, перелистывает в сотый раз. Что это дает? Лишь бы дела не делать! Даже противно, что у него такая библиотека, зачем она ему? Пыль собирать? А потом ходит, нос воротит. Тебе наплевать, а мне обидно! Не могу, нервы не выдерживают, пойдем в кафе обедать, не хочу домой!

К вопросу...

Мрачные мысли толпились в голове Лихтенштейна, который проводил свой обеденный перерыв в пивном баре неподалеку от института. Червяк... В настоящий момент червяк сидел в сейфе, куда Максим запихнул его после недавнего ночного происшествия и где ему, по распоряжению Пузырева, полагалось храниться постоянно. Но Максим был уверен: если держать червя там всегда, то очень скоро он непременно подойдет, да и кто бы из нас не подох, если бы его заперли в душный железный ящик, где нельзя распрямиться и как следует вытянуть хвост? Поэтому Лихтенштейн на свой страх и риск каждую ночь выпускал червяка ползать во дворе дома, где сам в это время с грехом пополам сгребал снег. Только во дворе жилого дома, но ни в коем случае не в институтском дворе, там бы сразу увидела охрана и обязательно донесла Пузыреву. И тут выяснилось бы, что старший научный сотрудник Лихтенштейн в нарушение всех инструкций систематически выкрадывает образец и выпускает в неохраяемом месте, где его кто попало может увидеть, услышать, сфотографировать или похитить. Максим понимал, что рискует не просто карьерой – головой, ибо нетрудно было себе представить, что произойдет, если этот ползучий как-нибудь смоемся. А ведь вчера положение было уже на грани: плоскобрюхая скотина пыталась скрыться в доме,

хорошо, что Максим вовремя заметил хвост, торчащий из щели в стене. Уж то-то ликовал бы профессор Лукницкий! Он и так достаточно нагадил, когда три недели назад на очередном Ученом совете обсуждался отчет кандидата технических наук Лихтенштейна по первому этапу работ проблемы «Червец». Максим трудился над отчетом целую неделю и выдал-таки шедевр.

Отчет был на первое. А на второе – коронное блюдо: программа и методика экспериментальных исследований, составленная лично товарищем Кашубой.

Отчет утвердили, – он был написан по всем правилам: Введение – задачи, стоящие перед животноводством. Литературный обзор: 1. Выдающиеся достижения сельского хозяйства в области создания новых пород высокопродуктивного скота. 2. Выдающиеся достижения бесплатной отечественной медицины в борьбе с ленточными червями-паразитами. 3. Зарубежный опыт. 4. Задачи, которые предстоит решать в свете Решений... А что? И не такие отчеты писали, пишут и будут писать во все времена.

Максим докладывал. Все дремали, а кто и спал. Но не спал коварный Лукницкий.

– Интересно, интересно. М-м... Максим... Ильич? – если не ошибаюсь? Так скажите нам, Максим Ильич, может, я чего недопонял, – почему нигде не указано, как и когда удалось вырастить червяку рога, а это очевидно так, поскольку в литературном обзоре вашего отчета, который пришлось,

к сожалению, тщательнейшим образом изучить, множество страниц почему-то посвящено именно крупному рогатому скоту?..

Профессор Кашуба немедленно попросил у председательствующего (директора) разрешения ответить на этот вопрос, но – в рабочем порядке, потом, отдельно, и, если нужно, на партийном бюро. Беспартийный Лукницкий принял поражение: молча сел. И тут же началось рассмотрение программы-методики.

Но не успел руководитель темы д. т. н. профессор Кашуба закончить сообщение, как неумный Лукницкий опять потребовал слова и, еще не успев его получить, уже вскочил, и, мелко трясясь от возбуждения, визгливо прокричал, что не понимает, каким это образом коллега Кашуба собирается определить: а) прочность на разрыв, сжатие и изгиб, а также на удар и кручение! исследуемого живого, подчеркиваю – живого! – существа, а также, страшно подумать: б) действие высоких температур, агрессивных сред, в том числе концентрированных соляной и азотной кислот, и в) абразивный износ и различные антифрикционные свойства!

– Это ведь живой червяк, откуда бы он там у вас ни взялся, а не бесчувственный пластмассовый образец, чтобы так издеваться! – верещал он.

«Слава Богу, хоть один нашелся, пожалел моего несчастного червяка», – подумал Максим Лихтенштейн.

– Чем без конца определять физико-механические свой-

ства (а вы только их определять и умеете!), установили бы пол и возраст животного, класс, к какому оно относится, способ его размножения, наконец, а то вот сдохнет он у вас, кого тогда будете исследовать? – продолжал Лукницкий. – А ведь взяли, стыдно сказать, обязательства перед министерством. Ладно, профессора Кашубу я еще понимаю, представляю себе движущие пружины, но вы-то, вы, Лихтенштейн? – Тут голос Лукницкого мгновенно пресекся, да и зал тоже затих. За спиной профессора Кашубы, до того хоть и грозно, но одиноко стоявшего около стола с указкой в руке, медленно возникал Василий Петрович Пузырев. Он материализовался, проявляясь, точно фотоснимок в пластмассовой ванне, и, наконец, предстал во всем своем величии – со стальным взглядом и неизменным блокнотом. Взгляд был устремлен на директора, который сразу заерзал на председательском месте, с досадой посмотрел в зал, точно ожидая разъяснений, и проямлил:

– Ввиду недостаточной подготовленности вопроса, предлагаю отложить рассмотрение программы-методики до следующего заседания совета, – директор взглянул на то место, где возникло изображение Пузырева, но оно не померкло, а даже как будто стало отчетливее. – Еще я хочу сказать, товарищи, – добавил директор с некоторым раздражением, – нельзя забывать – тема эта закрытая, так что надо усилить бдительность и не вести лишних разговоров ни в стенах института, ни, в особенности, за его пределами.

После этих слов призрак за спиной Кашубы мгновенно растаял, а через пару секунд в зале скрипнул стул.

– Заседание Ученого совета считаю закрытым, – объявил директор. Все помчались к дверям, и на следующий день сотрудники лаборатории Кашубы, все, кроме, естественно, Лихтенштейна, бросились оформлять командировки, а Лихтенштейн остался думать, скалывать лед и следить за червяком, чтобы, и верно, не сдох ненароком или, как очень опасался Кашуба, не пал жертвой агрессии проворного Лукницкого.

И вот... некоторое время все шло спокойно, а прошлой ночью червяк сделал первую попытку улизнуть. Было ли это случайностью или результатом чьего-то коварного замысла? В этом сумасшедшем мире все возможно. Лихтенштейн взглянул на часы – половина второго, в лаборатории обед, девчонки-лаборантки бегают по магазинам или изготавливают в термостате топленое молоко. Червяк один...

Он отсчитал деньги за три выпитые кружки пива, положил их на стол и быстро пошел к выходу.

...Где-то далеко-далеко, за полями и лесами, высилась хорошо видная отовсюду голая гора. Сунув под крыло голову и нахохлясь, черный ворон дремал на ее вершине. Плыли мимо низкие, отечные облака, роняя свой медленный снег на пустые склоны, на спящего ворона, на плоские поля вокруг. Снег шел везде; и тут, на Владимирском, он тихо ложился на тротуар, прямо под ноги Максиму. Завтра будет скандал

за сугробы и несколотый лед. Плевать! Хорошо, когда снег. Максим любил, когда снег и зима, всегда любил, с самого детства.

Глава вторая

Личная жизнь

Как все-таки правильно говорит Гольдин: если ты пессимист, то имеешь полную гарантию от разочарований, ошибиться можно только в хорошую сторону. Вот ждал Максим неприятностей из-за гада, но прошло полтора месяца, а все еще в порядке. И червяк никуда не девался, хотя Максим продолжал выгуливать его ежедневно. Теперь он делал это легально в институтском дворе, ибо профессор Кашуба вернулся из Парижа размягченный, просветленный и полный заботы об охране живой природы, – вернулся, на следующий же день пошел к Пузыреву и добился – это надо же! – официального разрешения на выгул животного. А Максиму, с которым они накануне отъезда крупно поругались, этому негодяю Максиму привез в подарок роскошный галстук. Наконец, третьего дня закончился срок, на который Лихтенштейн был командирован в дворники, на смену ему направили Гаврилова, и Максим имел теперь возможность все свои знания и силы отдать научным исследованиям по проблеме «Червец». Сам же профессор не покладая рук трудился над созданием новой программы-методики. В обязанности Максима по-прежнему входило кормление червяка капустой и уход

за ним, а именно: прогулки в специальной выгородке, оборудованной во дворе, определение (по указанию руководителя) длины, ширины и толщины опытного образца и, главное, температуры его тела. Замеры производились каждый час в течение рабочего дня, что всегда полезно, – по результатам таких замеров получаются весьма убедительные графики и таблицы. А если обработать данные с применением математической статистики, да еще на ЭВМ, так просто пальчики оближешь.

Словом, пока все шло нормально. И, хотя параметры животного в течение дня менялись незначительно, все же некоторые предварительные выводы можно было сделать уже сейчас: после каждого кормления, например, толщина тела образца увеличивалась в целом на 6,704 %, ширина – на 1,005 %, температура – на 3,42 °С (Цельсия), длина же сокращалась на 0,008 %. Поразительно!

В четверг, заглянув в журнал, куда заносились результаты исследований, профессор собрал на совещание весь состав лаборатории и объявил, что Максимом Ильичом, безусловно, проделана большая и важная работа, что в настоящее время проблема охраны окружающей среды приобретает все большее и большее значение, и прямой долг каждого из нас... тут Максим слегка отвлекся и некоторое время перемигивался с вороном, который, схватившись лапами за живот и прижав к нему оба крыла, разинул клюв и катался по склону горы, что у него, видимо, обозначало восторг. Ко-

мья, валившиеся с небосклона, ворона ничуть не пугали, они ему, похоже, нравились, и, отвеселившись, он затеял с ними игру – пытался подхватить на лету клювом и подкинуть вверх. Это напоминало выступление морских львов в цирке и быстро надоело Максиму Ильичу. Он включился и с изумлением услышал, что Кашубу несет уже в совершенно непонятном направлении – в сторону охраны памятников старины. Научные работники сидели с терпеливыми лицами, они ко всему привыкли.

– Таким образом, – вещал Кашуба, – наш долг делать все возможное и даже больше для сохранения и умножения того, что является гордостью нации и достоянием нашей родной природы!

– Любопытно, – сказал Максим на ухо Лыкову, – мой червяк – гордость нации или достояние природы?

– Этот вопрос выше моей зарплаты, – сонно откликнулся Лыков.

А профессор продолжал, еще более воодушевляясь:

– Для того чтобы в короткий срок проделать максимальный объем работ, замеры следует производить круглосуточно! И не только в рабочие дни. Нет, не только. Но и в выходные! И в праздничные! Пос-то-ян-но. А это одному человеку не под силу, товарищи. Так что включиться следует всему коллективу, сегодня же составить и дать мне на утверждение график дежурств. И никаких отговорок, справок от врачей и разговоров о детях. Дело государственное, тут – как

на фронте!

Быстро выяснив, что за работу в вечер, ночь, а также по субботам и воскресеньям будут давать по два отгула, как за дружину, сотрудники единодушно поддержали профессора.

– Ну, как тебе нравится эта грандиозная залепуха? – спросил Максим Гаврилова после совещания.

– Дежурства, что ли? – зевнул тот. – А что, меня вполне устраивает, возьму потом дни к отпуску.

– Да нет, я – в целом, вообще весь этот «Червец»?

Гаврилов подумал, оттопырив губу и приподняв левую бровь, пожал плечами и задумчиво ответил:

– Да не знаю... Как-то не вникал. Может, вообще-то и залепуха, да где ее нет? Вон я снег гребу – это что? А я гребу себе и очень рад – приятно физически поработать на воздухе. Да еще вот по червяку дежурить собираюсь. Брось ты, Макс! Вечно у тебя какие-то глобальные проблемы, а для меня сейчас главная проблема – где дачу на лето снять... Я тебе, между прочим, давно хотел сказать: не бери в голову. Нас толкнули – мы упали, нас подняли – мы пошли...

– Золотые слова, – сказал подошедший Лыков. – Это все – матата. Меня вот подняли, и я пошел в буфет, кому пирожков?

– Слушай, Макс! – продолжал Гаврилов, пока Максим отсчитывал в протянутую ладонь Лыкова мелочь. – Совсем забыл: я ведь тебе хотел предложить свитер, отличный свитер – чистая вул^[73], но, представляешь, узок в плечах. Людка го-

ворит: поставим в комиссионку, а я подумал – у нас с тобой один размер, но в плечах ты уже. Как?

– Цвет?

– Мокрый асфальт.

– Надо брать^[74].

И вот сегодня в новом свитере, который очень ему шел, Максим отправился в гости к старику Гольдину, у того жена была именинница.

В тесной, заставленной старыми вещами двухкомнатной квартире, где бывший сотрудник института Григорий Маркович Гольдин жил вдвоем с женой, толстой, добродушной и еще совсем не старой Ириной Трофимовной, Максим всегда чувствовал себя уютно и свободно. Единственная дочь Гольдиных Элла вместе с мужем – полковником и сыном Игорем вечно переезжала с Крайнего Севера на Дальний Восток, с Дальнего Востока – в Молдавию, а сейчас вообще жила в Ташкенте, так что Григорий Маркович с Ириной Трофимовной по сути дела были одинокими стариками, хотя и получали довольно часто посылки то с рыбой, то с южными фруктами. К Максиму они относились, как к сыну, да и он к ним уже настолько привык, что, когда старики однажды улетели на неопределенное время в Ташкент, вдруг таким почувствовал себя неприкаянным и несчастным, что даже разозлился: взрослый мужик с суровым детдомовским прошлым – и так раскиснуть! Ты еще запей, как Денисюк. Малютку бросили в лесу, азохэн вей!

Кстати, разным «азохэнвеем», а также «вейзмирам»^[75] и прочим словам и выражениям Максима научили как раз у Гольдиных, и не кто-нибудь, а вологодская Ирина Трофимовна. Это она в свое время, лет этак семь назад, ни за что ни про что нарекла Аллу Антохину, носившую в то время фамилию Филимонова, – «шиксой»^[76], что означало: «простая девчонка, ничего особенного, крутить роман – пожалуйста, но жениться, да еще такому хорошему парню из наших, – ни боже мой!» А «хороший парень» и сам колебался: с одной стороны, Алла тогда была очень недурна, хорошо одевалась, бойко лепетала на разные темы, а с другой стороны – черт ее знает – какая-то была уж очень правильная, здравомыслящая, удивительно для своего тогда еще очень юного возраста положительная, на все вопросы знала ответы, и все – верные, и, похоже, свою будущую жизнь просчитывала вплоть до выхода на пенсию. В ней проступало то, что называют «сильным характером», и когда она однажды подробно и жестко объяснила Максиму, как следует вести себя с начальством: «Начальников надо любить, понимаешь? Только по-настоящему, искренне», – после этого его увлечение стремительно пошло на спад. Он еще сам толком ничего не понял, Алла же, отстрадав неделю, начала демонстративно поглядывать на нового сотрудника Антохина. Ну – не компьютер?

Через некоторое время Максим (возможно, в отместку) получил приглашение на свадьбу, но не пошел, чем дал Алле повод думать, что уязвлен и ревнует, поэтому она до сих пор

разговаривала с ним участливым тоном.

У Гольдиных было давно решено, что Макс женится только на девушке из приличной еврейской семьи, и совсем не обязательно, чтобы она была семи пядей, главное, была бы домовитая, хорошая хозяйка («мальчик и так настрадался без домашнего тепла»).

– А как все-таки с внешним видом? – волновался Максим. – Что, если ваша «домовитая» окажется вот с таким шнобелем?

– Красота – до свадьбы, – утверждала Ирина Трофимовна. – Лишь бы человек!

– Э-э, тут я, как говорится, имею свое собственное мнение, – вступал Григорий Маркович. – Женщина – это вам такой предмет, который должен украшать дом своего мужа, лично я так считаю.

– Ну ладно, ладно, – сразу соглашалась жена. – Пусть еще и красавица, кто спорит? За нашего Макса любая пойдет, только свистни. Лишь бы побыстрее, а то носится, как куцый бык по просу.

– Ирочка, – говорил Григорий Маркович укоризненно. – Зачем эти намеки? Должен молодой человек немного погулять?

– Прогулки себе нашел! Тридцать лет жены нет – и не будет, а тебе к сорока идет, помни! – И, погрозив Максиму пальцем, Ирина Трофимовна шла на кухню.

Осюнчик

Стол был роскошный – Ирина Трофимовна готовила отменно: фаршированная рыба с хреном, традиционный салат из рубленых яиц с гусиным жиром и жареным луком, куриный бульон с шарами, изготовленными по специальному рецепту – из мацы, на второе – жареная курица и картофель с черносливом. И еще компот! А позже – чай с лэках^[77]. В результате Максим объелся, как всегда объедался в этом доме.

– Вот вам иллюстрация справедливости генетики, – заявил Григорий Маркович, показав на Макса, поглощавшего фаршированного леща. – Человек вырос в приюте, с детства приучен к казенному, а любит не что-нибудь, а фаршфиш. Наследственность – это наследственность, и никакое влияние среды ее не заменит.

– А также – влияние четверга, – сострил тучный Ося, племянник Григория Марковича, – и понедельника!

Сперва пили «за нашу дорогую Ирину Трофимовну, чтоб она была всегда такой, как сейчас: молодой, веселой, красивой и всеми любимой». Этот тост предложил Максим, а про себя добавил: «Пусть, главное, будет здоровой», – но вслух этого не сказал. Полгода назад Ирину Трофимовну оперировали в онкологическом институте, опухоль оказалась как будто доброкачественной, все, вроде, обошлось, но... пусть она будет здоровой, это главное, все остальное – веники.

Гости еще не успели допить шампанское, как встал Ося и поднял рюмку, куда был налит кагор.

– Тетечка, – проникновенно начал он рыхлым голосом, – я хочу предложить этот тост за ваше здоровье. Здоровье, как известно, дороже десяти и даже ста рублей, а, как говорится, – тут Ося сделал паузу, – не имей сто рублей, а имей?.. М-м... двести!

«Почему наши еврейские дураки всегда такие активные?» – с горечью подумал Максим.

– Тетечка, – продолжал между тем Ося. – Все мы хорошо помним, что мы пережили, когда вас положили на операцию. Конечно, думать надо только о хорошем и надеяться на лучшее, но место, где вы лежали, это, я вам скажу... Так что давайте, тетечка и все присутствующие – родные и гости, выпьем, чтобы ни вам, ни кому-либо из нас не пришлось переживать того, что вы и мы все пережили.

Холодея, Максим взглянул на Ирину Трофимовну, но увидел на ее лице добродушную и веселую, как всегда, улыбку.

– Спасибо, Осюнчик! – сказала она. – Но за меня уже пили, так что давайте лучше выпьем за тебя, чтобы Фира принесла еще одного парня. Или, в крайнем случае, девку.

Осюнчик хотел что-то возразить, но Григорий Маркович поднял рюмку и встал:

– Чтобы все были живы-здоровы! – торопливо объявил он и сразу выпил.

После этого тоста Гольдин стал непривычно болтливым – изредка поглядывая на жену, не закрывая рта, рассказывал старые анекдоты, громко хохотал, потом затеял разговор о политике: что вы думаете, с Израилем все так просто? Вы еще увидите – очень и очень непросто, попомните мое слово. Это, безусловно, милитаристское государство, и американские империалисты тут приложили руку, что говорить.

– Позвольте мне сказать еще один тост, – вдруг канючливо влез Ося, – всего несколько слов. Ровно год назад мы похоронили дядю Изю. Я до сих пор не могу без слез...

Скотина, он ведь, и верно, плакал – крупная слеза ползла по толстой щеке.

– У тебя сигарет нету? – громко спросил Максим Осюнчика через стол.

– Не употребляю, – солидно ответил тот.

– У меня английские, пошли покурим, – Максим вышел из-за стола.

– Так я же... – сопротивлялся Ося, но Макс взял его за плечо и потащил к двери.

– Расскажу анекдот, здесь неудобно, пошли, очень смешно – ухочешься, – приговаривал Максим.

В коридоре он загнал Осюнчика в угол рядом с вешалкой и, понизив голос, спросил:

– Что есть самое печальное зрелище на свете?

– Уже смешно, – одобрил Ося.

– Будет еще смешнее, – пообещал Максим. – О’Генри счи-

тал, что это – дырка на конце чужого пистолета. А я вот думаю – дебилый еврей.

– Как?

– Я говорю: тебя ударили или ты от рождения такой? Ты куда пришел, сукин сын? На день рождения или поминки праздновать? «Тетечка! Дядя Изя...»

Большие выпуклые глаза Осюнчика полезли из орбит.

– Ой, что ты говоришь! Так ты думаешь, тетя расстроилась? Так ты думаешь? Хорошо. Я сейчас все сделаю. Я пойду и скажу...

– Сказал уже. Сиди тихо, понял?

После этого Осюнчик, и верно, притих. Сидел и надсадно улыбался каждой шутке. А Максима Григорий Маркович вскоре утащил в соседнюю комнату – поговорить.

...Жуткая все же штука – старость. Максим думал об этом каждый раз, как Гольдин жадно и ревниво набрасывался на него с расспросами о работе. Старик скучал, не знал, куда себя девать, тосковал по... было бы по чему! – по Кашубинной лаборатории. Все ему было интересно, каждый пустяк, и, конечно, в глубине души хотелось, чтобы без него дела пошли куда как худо, чтобы все поняли, какую свалляли глупость, отправив на пенсию Григория Марковича!

Желая доставить Гольдину удовольствие, Максим совершенно искренне сказал, что в настоящее время лаборатория и он сам лично заняты грандиознейшей залепухой, залепухой из залепух, такой, что уж – ни в какие ворота, что ему,

Максиму, конечно, стыдно, но, видимо, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. «Нас толкнули – мы упали, нас подняли – мы пошли», как сказал Гаврилов.

– Не говори мне про Гаврилова! – сразу рассвирепел Гольдин. – Это, я вам доложу, типичнейший обыватель. Заботится только о собственном благополучии, за дело не болеет. Между прочим, злопыхать легко, а работать...

– Да Бог с вами, Григорий Маркович! Какое там «дело»!

– А это не торопись судить со своей колокольни! Есть государственный интерес! – духарился Гольдин. – Вы все думаете: там – он указал на потолок – дураки сидят. Все дураки, а вы очень умные! Для тебя залепуха, а для дела – престиж!

– Но ведь это обман. Вы понимаете – вранье! – сказал Максим и тут же мысленно себя обругал: ведь сто раз давал себе слово не спорить со стариком на эти темы. Тот мог сколько угодно возмущаться отдельными недостатками, которые пока еще кое-где... Но – Государственные Интересы!..

– Чистоплюйство! – закричал Гольдин. – Подумаешь, «обман». Моралисты на мою голову! Ты читал, что такое буржуазная пропаганда? Они нас будут поливать помоями на всех перекрестках, а мы – молчать в тряпочку? Ишь, какой грех – если немножко преувеличить кое-какие наши достижения. Пустяк дело! У нас есть такие штуки, про которые никто не знает, да у нас...

...Ворон плакал. Он неряшливо распустил перья, нахох-

лился, скорбно повесил клюв. Мелкие комки валились на него вместе с частым, беспросветным, безнадежным дождем. Дождю не предвиделось конца, белесые холодные потоки мчались с горы, размывая тропинки, обнажая корни чахлых кустиков, кое-как прилепившихся к склонам...

– Молчание – знак согласия! – услышал Максим. Старик торжествующе смотрел на него. – Или, может, имеются возражения?

Возражений, увы, не имелось, и вообще, наверное, пора было возвращаться за стол, но Гольдину было мало:

– Расскажи, – вдруг по-детски попросил он, – ну как там все? Ребята? Какие события, и вообще...

И Максим зачем-то рассказал про юбилей Денисюка, которому подарили польскую рубашку и польский же галстук. Вручали в торжественной обстановке в кабинете Кашубы. Сперва тот зачитал выписку из приказа директора, откуда все с изумлением узнали, что товарищ Денисюк Анатолий Егорович вот уже более тридцати лет упорно и плодотворно трудится на благо отечественной науки, а молодежь и среднее поколение в неоплатном долгу перед ветеранами. Юбиляр слушал хмуро, переминаясь возле двери. Был он в выходном костюме, причесанный и необычно тихий.

Максим взял слово сразу после Кашубы, зачитал стихотворное приветствие, потом обнял ветерана за тощие плечи и немного потряс. Денисюк застенчиво вздохнул. Вздохнул и Максим.

Вслед за этим лаборантка Люся вручила нашему дорогому Анатолию Егоровичу скромный подарок: «Галстук мы выбрали светло-голубой – к глазам. И разрешите, я вас поцелую от лица женщин».

Тут все дружно зааплодировали, отчего юбиляр, сохраняя на лице хмурое выражение, стал озираться по сторонам, но, не найдя ничего достойного внимания, два раза неуверенно хлопнул в ладоши.

Когда овации стихли, возникло некоторое замешательство: повестка дня как будто была исчерпана, а между тем герой торжества, не произнося ни слова, продолжал топтаться у двери, причем выражение его лица из просто хмурого сделалось раздраженным.

Видимо, начальство решило ободрить Денисюка, растерявшегося от нахлынувших чувств, и ласково произнесло: «Анатолий Егорович, вероятно, хочет поблагодарить товарищей за теплые... э-э... слова, высказанные в его адрес. Не робейте, Анатолий Егорович, здесь все свои». – «А чего робеть? – исподлобья спросил юбиляр. – Никто ни хрена не робеет. Мы – рабочие... Галстук! Лучше бы ректификату налили... Э-эх!»

...Но нашлись люди. Не то, что эти падлы с «гаврилкой», – после работы Анатолия Егоровича задержали в проходной – не мог выйти, не попадал в турникет...

– Ну и как же? – строго спросил Максима Гольдин, хмурия брови.

– Кашуба ходил, чего-то объяснял. Пропустили.

– Очень смешно, – старик поджал губы. – Прямо хохма: пожилой человек немного выпил лишнего. Между прочим, этот Денисюк работал, когда ты еще... Есть же пределы! То же мне – повод для иронии. Завтра же поздравь Анатолия от меня. Нет! Я ему позвоню.

С минуту Григорий Маркович бросал на Максима гневные взгляды, потом отвернулся, помолчал и вдруг жалобно произнес:

– Черт его знает, Макс... До чего надоело дома, ну сил никаких... Нет, ты не подумай, я понимаю: государство совершенно право, надо выдвигать молодые кадры, а по отношению к нам, старикам, сделано все возможное, у кого же еще в мире такая обеспеченная старость? Разве я могу жаловаться? А только... седьмой десяток – это вам не фестиваль искусств...

...Когда Максим с Гольдиным вернулись к столу, гости уже посматривали на часы и поговаривали, что пора.

– Да, товарищи, завтра нам рано вставать, – вдруг сказал Ося. – Кто был ничем, тот встанет в семь. Ха. Но на прощанье я все же позволю себе... – Поймав пристальный взгляд Максима, он сделал успокаивающий жест рукой, глазами и щеками: «В чем дело? Как договорились. Я все понимаю, можешь не волноваться». – ...Я позволю себе рассказать одну смешную историю. Как бы анекдот. Жил однажды капитан...

– Он объездил много стран? – мрачно спросил Максим.

– Если ты знаешь этот случай, тогда – пожалуйста, я не буду рассказывать, – обиженно забухтел Ося.

– Говори, Осюнчик. Так что там было с этим капитаном? – вмешалась Ирина Трофимовна, бросив на Макса свирепый взгляд.

– Так этот капитан, – продолжал Ося, – он был просто мастер своего дела, водил пароходы лучше всех. Никогда никаких аварий или чтобы посадить на мель. Или перевернуть. И ведь что главное: всегда заглянет в какой-то блокнотик – и идет к себе на мостик давать указания. А как чуть что – опять смотрит в блокнот. Все другие капитаны помирали от зависти... А потом этот капитан умер, и сразу все его заместители и... эти... помощники бросили свои дела и побежали к нему в каюту, чтобы захватить блокнот. Просто передрались между собой. Схватили блокнот, открыли, а там... – Ося сделал торжествующую паузу. – А там написано... Слушайте! «Спереди у корабля – нос, сзади – корма...» – Ося колыхался от хохота, но вдруг посерьезнел: – Этот случай мне рассказал дядя Изя, ведь он же в молодости был моряк.

Воцарилась могильная тишина, а Осюнчик наклонился к Максиму:

– Проводи меня. Есть разговор.

Вера

Максим ехал от Гольдиных последним поездом метро. В

вагоне было пусто, только немолодая супружеская пара дремала напротив. Худенькая, бедно одетая женщина положила голову на плечо мужа, а он, сидя с закрытыми глазами, придерживал ее, обняв за плечи...

Сегодня Ирина Трофимовна успела попилить Максима. Нет бы прийти с барышней, так он опять один да один. Имелась в виду, конечно, все та же хорошая девушка из еврейской семьи. Однажды Максим спросил, почему именно из еврейской, а не из русской или, допустим, грузинской?

– Ты думаешь, мы сионисты? – возмутился тогда Григорий Маркович. – Можешь не рассказывать! Есть, конечно, плохие русские и сколько угодно скверных евреев. Но скажи, зачем, чтобы твоя жена в злую минуту назвала тебя жидом? Ну пусть не жена, так теща. Что? Что ты смотришь? Ирина Трофимовна не пример, таких женщин больше нет и не будет.

Ося собрался уезжать... Не знает, как сказать старикам; боится Григория Марковича, тот не раз говорил: уезжают предатели Родины... Все, конечно, гораздо сложнее, но старики – народ упрямый.

Поезд остановился. Женщина, дремавшая напротив, вздрогнула, открыла глаза, испуганно осмотрелась, но, увидев рядом мужа, вдруг заулыбалась блаженной девчоночьей улыбкой.

...Нет и не будет... Весной позапрошлого года... Максим защитил тогда кандидатскую и устроил в ресторане «Асто-

рия» грандиозный банкет. Поскольку официально такого рода мероприятия строго запрещены, объявил, что празднует день своего рождения, который, правда, уже был в ноябре, а сейчас апрель, но тогда он не мог из-за диссертации, а теперь вот освободился и на радостях приглашает в ресторан всех, присутствующих на его защите, а главное, руководителя и оппонентов. Старик Гольдин, получив приглашение, страшно изругал Максима: в погоне за дешевыми эффектами залез в невероятные долги, и – кому нужна, скажите на милость, эта Астория-шмастория? Гостей можно было позвать к нам и отметить, как полагается, в кругу семьи! У тебя, позволь тебе напомнить, есть семья! – а Ирина Трофимовна, что ты думаешь? – сготовила бы хуже, чем в ресторане, где все жарят на машинном масле? Но уж если непременно нужно было приглашать тысячу человек, так ведь существуют, как пишут в газетах, и иногда это правда, – вполне приличные молодежные кафе... «Мир», «Дружок», этот... «Аленький веночек», я знаю? «Астория» – для гешефтмахеров^[78] и пижонов.

Максим сказал, что насчет долгов Григорий Маркович не прав: на долги плевать, одна живем, зато вот свадьбу он обязуется справлять только у Гольдиных, под их руководством и на чистом сливочном масле.

Тысяча – не тысяча, а человек сорок на банкет пришло.

Как они выглядели, во что были одеты и какие тосты произносили – ничего этого Максим не заметил и не запомнил. Помнил только, как первым в зал ресторана, где он тупо сто-

ял около накрытого стола, вошел его руководитель Евдоким Никитич Кашуба. Помолодевший, подтянутый, он ступал по ковровой дорожке, бережно ведя за руку существо женского пола, при виде которого Максим обомлел, обалдел и отключился от внешнего мира.

Веру Евдокимовну он раньше видел мельком и толком не разглядел. Сейчас она была похожа на героинь легенд про рыцарей Круглого Стола и скандинавских саг, какими Макс их себе представлял: надменная северная красавица – стройная, высокая, величавая, с широко расставленными серыми глазами, коротким прямым носом, светлыми волосами, подстриженными, правда, не совсем как в легендах, а как в последнем французском фильме. Одетая тоже, как в кинокартине про «красивую жизнь», – в какое-то немислимое вечернее платье, но держалась при этом так, точно платья этого не замечает, сколько оно стоит – не интересовалась, и вообще на эти дела ей наплевать. Алла Антохина неделю потом объясняла всем желающим, что в платье от Диора любая жердь будет иметь вид. Хорошо, когда твой папочка без передыху гоняет по заграницам!

Максим Вериного платья не разглядел – все обрушилось на него целиком, как тропический ливень, – где уж там разглядывать каждую дождинку! Протянув ему прохладную, узкую руку, Вера без улыбки негромко сказала: «Здравствуйте, именинник. Поздравляю».

За столом диссертанту, слава Богу, полагается сидеть око-

ло своего научного руководителя. Максим и сел – между профессором и Верой, которая весь вечер почти не ела и совсем не пила. Она сидела очень прямо, чуть приподняв подбородок, сдержанно улыбалась шуткам Максима и решительно отказывалась от вина. Отец почему-то время от времени бросал на нее вопросительные взгляды, она отвечала надменным поднятием брови.

Максима неприлично много хвалили, предлагали за него тосты, Гаврилов что-то кричал ему через стол, – он ничего не понимал, не слышал и не видел. Видел только поднятый профиль и узкую руку, играющую вилкой. Как-то незаметно роль главного за столом перешла к Кашубе: тот отвечал на поздравления, поднимал бокалы за оппонентов, даже, к удивлению Максима, один раз, по-видимому довольно удачно, сострил. Что именно он сказал, Лихтенштейн опять-таки не слышал, чистил для Веры апельсин, но на мгновение очнулся от громкого хохота и увидел, что профессор стоит с рюмкой в руке и, скромно потупясь, ждет, когда присутствующие отсмеются его шутке.

Потом Максим танцевал с Верой, и на них смотрел весь зал. Оно и понятно: красивей ее во всем ресторане не было никого, даже иностранки, плясавшие как бешеные, выглядели рядом с Верой, несмотря на свои хипповые наряды, провинциальными кривляками. Вера танцевала очень спокойно, как-то даже вроде нехотя, но, когда Максим спросил: «Вы не устали?» – она ответила: «Нет, нисколько».

Объявили так называемый «белый танец», и тут откуда ни возьмись возникла Алла, схватила Максима за руку и потащила за собой. Он растерянно взглянул на Веру, и та чуть заметно ему кивнула – ради Бога, мол. К ней тотчас подскочил некто роскошный, похоже, итальянец, хотя вполне возможно, что и грузин, но она что-то коротко ему ответила, пошла к столу, где Максим и застал ее, вернувшись. Вера сидела одна и курила. А на противоположном конце стола бушевало невероятное оживление: там прямо-таки царил папа. И вдруг Максиму захотелось немедленно встать и уйти. С ней вдвоем. Он сегодня был именинником, ему было позволено все, и он сказал очень легким тоном, глядя прямо в серые серьезные глаза:

– Давайте возьмем вон тот коньяк и удалимся отсюда. По-английски. С обслугой я расплатился заранее, а здесь очень душно.

– Душно? – внимательно спросила она. – Мне не кажется. Но если хотите, можно уйти.

И встала.

Через много лет Максим будет вспоминать, что приходило ему в голову, когда они с Верой шли той ночью по городу. Он смотрел тогда по сторонам и думал: «А ведь это запомнится на всю жизнь», – светлое ночное небо в воде Мойки, старые тополя, совершенно пустая, настороженная Дворцовая площадь, и, главное, никогда раньше не испытанное ощущение тихого восторга.

Максим угадал: действительно, запомнилось. Запомнилось и чувство изумления от того, что все это происходит именно с ним, Максимом Лихтенштейном, детдомовцем, про которого всегда говорили: «С этого толку не будет – шпана. Драка за дракой, отец, не иначе, был бандит, хоть и еврейчик».

Максим не знал тогда только одного: эта ночь окажется самой счастливой в его жизни.

Они ни слова друг другу не сказали о том, куда идут, но, когда пересекли площадь, Вера взяла Максима под руку.

– Устала. Далеко еще? Может – такси?

Дома он суетился, накрывал на стол, разливал коньяк. Вера подняла рюмку, чокнулась с ним, сказала «за вас». И поставила рюмку на стол.

– Ни капли? – поразился Максим.

– Ни единой, – ответила она с улыбкой.

– Зачем же я украл со стола две бутылки? Берегитесь – напьюсь.

Выпил один почти бутылку и не опьянел...

Он запомнил эту длинную ночь до самого конца, до утра.

...Вера спала, а он слонялся по квартире: садился за стол, вставал, подходил к окну, глядел на далекий красный огонек подъемного крана, почти неразличимый на посветлевшем небе, на обычно раздражавшие его груды новостроек, – сейчас они казались беспомощно-трогательными.

Утром он должен был идти на работу, а Вера сказала, что

днем свободна, будет спать и дождется его.

Столкнувшись в институте с профессором Кашубой, Максим замялся и начал было краснеть, но Кашуба скользнул взглядом мимо и, только пройдя, задал в спину странный и даже двусмысленный вопрос:

– Все в порядке?

– Ага, – глупо ответил Максим. Профессор ушел, а он еще долго остолбенело смотрел ему вслед: «Ну, что это, Господи, ведь болван же, хоть и Верин отец. Что – «в порядке»?! А, черт с ним, кто их знает, какие у них там, дома, дела, Вера – взрослый человек, мать двух пятилетних сыновей...»

Максим брел по коридору и с нежностью думал об этих близнецах, которых ни разу не видел и которые, как он, росли без отца. Вера вчера по дороге рассказала ему, что ее родители совершенно узурпировали права на детей.

...Ни с того ни с сего Максим вдруг очень ярко увидел: июльский пляж в Гаграх, озверевшее солнце, зеленые душевные горы, Вера, загорелая, в белом почему-то купальнике, рядом – двое пацанов. И он, Максим, – покупает у грузинки виноград. Черный, «Изабеллу»... Да... Сентиментальный вы, однако же, тип, Максим Ильич, прямо уездная барышня, а не железный потомок воинственных иудеев. Вон Гольдин: прочел Библию от корки до корки и утверждает, не без кровавой гордости, будто путь еврейского народа усеян трупами врагов... Да... Не мешало бы поработать... А может, смыться? Сколько сейчас времени? Всего два?

До трех Максим кое-как продержался, а потом Кашуба куда-то исчез, так что спрашивать разрешения стало не у кого, и с. н. с. Лихтенштейн покинул институт со спокойной совестью.

...Наверное, надо купить какие-нибудь продукты, может быть – торт? Но тогда – потерять время? Плевать. В холодильнике еще остался харч, а кроме того, интуиция подсказывала, что Вера к его приходу что-нибудь приготовит: утром сквозь сон спросила, где тут поблизости гастроном.

Максим забежал только на Кузнечный рынок, купил цветы и килограмм помидоров, за которые пришлось отдать десятку. На «остатнюю» пятерку взял такси и помчался домой.

Он не стал открывать дверь ключом. Всю жизнь, с тех пор как у него появился собственный дом, сам отпирал свою дверь, но сегодня он шел не в пустую квартиру, сегодня его ждали, и он нажал на звонок.

Раздались шаги. Стоя вплотную к двери, Максим слышал, как Верина рука неумело возится с замком.

«Чего я дрожу, как гимназистка?» – подумал он. Тут дверь распахнулась, и он шагнул, выставив вперед букет.

Застывшие, очень светлые, почти белые глаза смотрели из-под красных век, не узнавая. Совершенно мокрые (почему?) волосы прядями падали на лоб, и вода с них текла по лицу на грудь. На Вере был старый Максимов махровый халат, брошенный на голое тело и не застегнутый. Одна нога была в туфельке на высоком каблуке, вторую, босую, она

поджала. Вера стояла в дверях, держась за косяк, и исподлобья разглядывала Максима.

– Ты... Я тебя вытащил из ванны?

Она не ответила, поправила халат на груди и, с трудом разлепив запекшиеся губы, медленно выговорила:

– А-а... Пришел, значит...

– Что случилось? Ты... – начал Максим и тут же уловил отчетливый, резкий спиртной запах.

– Чего уставился? – спросила Вера враждебно. – Давно не видел?

Она сделала какое-то движение, покачнулась и наверняка упала бы, если бы Максим не успел подхватить. Тут она сразу обмякла и покорно позволила отвести себя в комнату, при этом пыталась прыгать на одной ноге, отчего свалилась и вторая туфля.

В комнате запах был еще сильнее. На неубранной постели Максим увидел пустую бутылку из-под коньяка, неизвестно откуда взявшуюся банку шпрот и несколько окурков. Окурки валялись и на полу рядом с диваном.

Сев на стул, отчего халат совсем распахнулся, Вера положила руки на голое колено и, сведя брови, опять принялась рассматривать Максима. Взгляд ее при этом оставался неподвижно-тяжелым. Максим в растерянности стоял посреди комнаты.

– Ты думаешь, – ты – что? Мне нравишься? – вдруг злобно спросила она. – Ни капли... Понял? Что, съел? – и нежи-

данно тонко захихикала.

Говорить с ней сейчас было бессмысленно, и Максим вышел в кухню, где из незавернутого крана с шумом хлестала холодная вода. В раковине плавали окурки.

– Приготовь мне покушать! Я кушать хочу! – капризным голосом крикнула Вера из комнаты.

Пьяный, да еще, если с непривычки, за свои поступки, как известно, отвечает не вполне. Максим закрыл кран, выкинул окурки, взял сковородку и стал жарить яичницу. Руки его не слушались, одно яйцо выскользнуло и упало на пол.

– Разбилось... – услышал он за спиной Верин голос и обернулся.

По бледному, даже как будто синеватому лицу дорожкой бежали слезы.

– Чего глядишь? Я кушать хочу! – закричала она истерически. – Ты что делаешь? Не трогай солонку! Со-ле-на-я пи-ща... вредна! – тут Вера пошатнулась и рухнула на пол.

...Максим возился с ней до самого вечера. То она засыпала, то открывала глаза и требовала, чтобы он немедленно отправлялся за бутылкой. «Денег нет? Бедный? Да? Бедный? Возьми у меня в сумке, купишь водки и сухого, ясно тебе?»

Он отказывался, уговаривал ее; понимая полную бессмысленность вопросов, все же спрашивал, что случилось, в чем дело? Вопросы приводили ее в ярость. После того, как он принялся их задавать в третий раз, Вера вскочила с дивана, заметалась по комнате, потом бросилась к книжной полке

и начала швырять на пол подряд книги и фотографии, бросила фарфоровый бюст Маяковского. Потом вдруг замерла, некоторое время стояла, глядя на разбитый бюст, медленно и очень тщательно собрала осколки, вынесла на кухню, вернулась, легла на диван лицом к стене и стала жалобно плакать.

Максим слышал тоненькие всхлипывания и видел, как вздрагивают ее плечи, но, когда он подошел, начались такие рыдания и вопли, что он перепугался – бегал за водой, капал валерьянку. А Вера кричала:

– Выгони ты меня! Вышвырни на улицу! Я же мразь! Мерзкая падаль! Дерьмо! Шлюха!

– Неправда, – бормотал он и гладил ее волосы. – Успокойся! Сейчас пройдет, пройдет...

...А что пройдет-то? Что это вообще такое? Реакция на выпивку? С непривычки? Или приступ какой-то болезни?..

Когда поздно вечером Вера задремала, Максим вышел из дому и направился к телефону-автомату. Звонить Кашубе было противно, да что поделаешь: все же отец, должен знать, если она чем-то больна. Приползла мысль, что, конечно, лучше всего было бы сейчас взять такси и отвезти ее домой... Ну уж нет, это не по-мужски! Гнусно!

– Евдоким Никитич, – начал он, – понимаете... тут такое дело... Вере плохо...

Кашуба молчал.

– Я думал, может, вызвать «неотложку»... – проямлил Максим.

– Ни в коем случае, – сказал профессор голосом, лишенным всякого выражения. – Назовите ваш адрес, я сейчас приеду и заберу.

Максим на секунду почувствовал облегчение, но – только на секунду.

– Нет, нет! Ей сейчас нельзя, она же... Я сам... Но, может, вы... может, какое-то лекарство?..

– Обычно в таких случаях помогает нашатырный спирт, – тускло сказал Кашуба и тотчас положил трубку.

...Максим вернулся домой. Вера спала. Дышала ровно, и лицо ее при неярком свете настольной лампы опять было лицом героини скандинавских саг. Максим выключил лампу, прилег не раздеваясь рядом и, сам не ожидая этого, внезапно и крепко заснул.

Проснулся он от того, что в окно светило раннее солнце, и сразу встал, разминая затекшее тело.

– Я не сплю, Макс, я уже давно не сплю, – тихо сказала Вера. – Принеси, пожалуйста, сигарету.

Максим принес сигареты, зажигалку, дал Вере прикурить и закурил сам. Половину шестого показывал будильник, идти на работу ему надо было в восемь...

...Вера просила прощения – у нее был нервный срыв, который никогда, никогда больше не повторится! Максима, конечно, это не касается, он для нее вообще ничего не обязан делать, но пусть знает, тогда скорее поймет. Тошно, ох, до чего тошно! – жизнь осточертела, на работу не устроиться.

Я ведь художница, Мухинское кончала, работала в издательстве, а там – сплошные бабы, такие сволочи, завистливые, злобные! Что человек один воспитывает двоих детей – на это им плевать, что нет у меня никого – не верят, а вот что хо-жу в импортных шмотках и мужики глаза пялят, а на них, на куриц, не смотрят, – этого они пережить не могут. Прямо съедали. И съели. А теперь этот проклятый оформительский комбинат, где обещали жалкое место, и все тянут и тянут, а дома родители тянут душу, дома вообще жить невозможно, папаша хоть из кого кишки вымотает: «В наше время каждый человек обязан быть полезным обществу, дети должны видеть перед собой положительные примеры, надо быть хорошим и честным, а плохим и нечестным быть нехорошо. Все мы в неоплатном долгу...» Вера так похоже изобразила Кашубу, что Максим на мгновение увидел свою гору и ехидную рожу ворона.

Что там говорить – конечно же, иметь под боком такого родителя далеко не сахар, тут, пожалуй, и в самом деле запьешь или повесишься. Другой бы на Верином месте давно сбежал из дому, а куда бежать одинокой бабе с двумя ребятами?

– Наш профессор, – рассказывала Вера, – он ведь, знаешь, что больше всего обожает? Кампании. Не, не то! Не собраться – выпить-посидеть, а общественные кампании, ну там – приоритеты, космополиты, а теперь вот за охрану природы или «химия – в жизнь»...

– Это мы знаем, – усмехнулся Максим.

– На работе, наверное, еще можно как-то выдержать, а вот когда тебя дома с детства все время окунают из холодной воды в горячую.... То – ходи, как чучело, – «девочку украшает скромность», то – слава Богу! – «у Запада тоже можно кое-чему поучиться, а эстетика должна быть во всем». И – тебе привозят из Парижа тряпки, а в доме меняют мебель. То... Да ладно – я, а дети? Он ведь замучил мальчишек. И маму замучил. Как же – трудовое воспитание! «Человек должен все уметь делать собственными руками! Откуда у вас это барское пренебрежение к физическому труду? Вот и «Литературка» пишет...^[79] Что? Ремонт? Никаких маляров! Прекрасно оклеим своими силами...» И – что ты думаешь? Ободрал, собственными-таки руками, все обои, купил пять килограммов сухого клея, и на этом все кончилось, – улетел куда-то на конференцию, потом уехал в другую командировку, месяц жили в хлеву, а потом мать позвала мастеров из «Невских зорь»^[80]... А на той неделе приказал ребятам каждое утро мести лестничную площадку: «У нас в стране прислуги нет, дворников мало, никто не желает работать. Вот ваша мама – не идет ведь в дворники, хотя сидит без дела...» А им – по пять лет... Потом еще является бывший супруг и тоже лезет со своими амбициями, взглядами на воспитание и правами на мальчишек...

– А он кто?

– Он? Большой человек. Начальник! На черной «Волге»

ездит. Разглагольствует не хуже моего папаши. ...Господи, хоть бы сдохнуть, что ли? Ты меня извини, я тебе говорю, – это был нервный срыв, больше никогда... вспомнить страшно... и стыд-то, стыд... Спасибо тебе, ведь посторонний человек... Ну, прости, прости! Не посторонний, нет...

...Потом она опять объясняла и объясняла. Максим соглашался – конечно, унижительно, когда тебе не доверяют, грозят, вмешиваются, конечно, хоть кому осточертело бы изо дня в день – и дома! – слушать демагогическую трепотню. Вера благодарно обнимала его и все повторяла:

– Ты хороший, ты добрый, Господи, какой же ты хороший!
...На работу в тот день Максим не пошел...

А назавтра, тихим и скромным утром, он приближался к институту и думал – надо бы поговорить с Кашубой с глазу на глаз, начистоту. Что, в самом деле, за пироги: доводить человека до такого? Тут ведь и до дурдома недалеко. Женщина – на грани, а он: «нашатырный спирт»! Скотина.

Максим даже придумал предлог, по которому ему надо обратиться к Кашубе, но не получилось никакого «мужского» разговора – тот выглядел таким пришибленным, старым и больным, что не повернулся язык. Да и вообще, честно говоря, как-то вдруг неловко стало вторгаться в чужие дела, – он Кашубе не сват и не брат. И не зять. Пока еще. А профессор... что с него возьмешь? Максим вспомнил вчерашние Верины рассказы. Всю жизнь только тем и занят, что ориентируется, и только, бедняга, пристроится в хвост очередно-

му почину, только развернется, – а тут р-раз! – и нб тебе – повело в другую сторону...

Кое-как обсудив ничтожный «деловой» вопрос, с которым явился, Максим вышел из кабинета.

Вечером, открывая дверь в квартиру (на этот раз ключом, Вере он оставил другой, она хотела днем прогуляться: «Надо прийти в себя, а уж завтра – домой»), Максим услышал незнакомые, очень оживленные голоса и громкий смех. Войдя, он застал такую картину: за столом, уставленным пивными бутылками и «бомбами» с «бормотухой»^[81], или, как их еще называют, «фаустпатронами», сидели Вера в парижском платье и три мужика. Трое из тех, кого можно встретить без пяти одиннадцать под дверью винного магазина. Одного из них Максим как будто знал в лицо, но где встречал, вспомнить не смог.

Когда Максим появился на пороге, Вера встала, держав руке полный бокал:

– Присоединяйся, – пригласила она. – А сперва разреши представить: мои друзья. Вот это – Николай, а это... как тебя?

– Михаил, – с достоинством кивнул второй мужик, не вставая. И добавил: – Садись, гостем будешь.

Третий, со знакомым лицом, вскочил из-за стола, засуетился, стал собирать бутылки.

– Пошли, ребята, – заботливо приговаривал он, – пошли, хозяин – со смены, пускай отдыхает.

– Эт-то еще что?! – гневно осадила его Вера. – Не трогай бутылки! Я тебе дам – «пускай отдыхает». А ты чего стоишь? – накинулась она на Максима. – Встал, как пень. Садись! – Лицо ее побагровело, глаза сузились.

– Ох, она ему сейчас и зафуярит! – с восторгом взвизгнул Николай.

Максим вдруг почувствовал жуткую злость.

– Что это значит, Вера? – спросил он тихо. – Что за бардак?

– Барда-ак?! Ах ты, сопля! Гад ментовский! Не желаешь с моими друзьями за стол сесть? А чем они хуже тебя... Воючка!

Максим вздрогнул и, плохо соображая, что сейчас произойдет, шагнул к Вере. Она завизжала и отпрянула, и тут же: «А-а, падла!» – схватив бутылку и оскалившись, вскочил Николай.

– Две собаки дерутся, третья не приставай, – Михаил взял дружка за руки, – две собаки...

– Пошли, ребята, – внушительно вмешался третий и, повернувшись к Максиму, вдруг подмигнул: – Не признали? Я же вам стенной шкап делал. Запрошлый год еще.

– Если друзья, тогда – другое дело, – сразу смилостивился Николай. – Тогда ладно, хрен с ним, пошли. Мишка, идем! А ты гляди, бабу не трожь, понял? Проверю, понял – нет?

– Две собаки дерутся, третья не приставай, – рассудительно напомнил Михаил уже в дверях. Бутылок он не взяли.

После их ухода Вера учинила скандал:

– Ты так, да? Ты так? Выгнал на улицу моих лучших – лучших! – друзей! Да ты-то сам кто такой? Подумаешь, дерьма-пирога, кандидат наук, цаца! Видали мы таких, навидались! Да такие мужики, как Мишка с Колькой, если хочешь знать, в тысячу раз лучше, потому что честнее, не болтают и ничего из себя не строят, что думают, то и говорят. А вы? Да они, если хочешь знать, с тобой на одном поле и с...ь не сядут! Что рот разинул? Не слышал таких слов? Небось, не такое слышал, все вы из кожи вон лезете, чтобы выглядеть интеллигентами. Не выйдет, зря стараешься, из хама не сделаешь пана, а из дерьма – профессора! Детдомовская шпана ты, вот ты кто! Ублюдок! Тебя родина воспитала, понял? И ты теперь в неоплатном долгу! – Она захохотала, схватила со стола тарелку и кинула в стену, плюнула на пол, хотела плюнуть Максиму в лицо, но он сжал ее запястья и заломил ей руки за спину. Громко вскрикнув от боли, она попыталась его укусить, принялась рыдать, материться, потом стала тихо стонать. – Пусти, мне больно. Пусти! Сломаешь руку!

А затем у нее вдруг начался сердечный приступ, и, похоже, серьезный: пальцы похолодели, глаза закатились, пульс еле прощупывался. Что было делать? И Максим, еще минуту назад твердо решивший выкинуть мерзкую бабу на улицу к «лучшим друзьям», побежал вызывать «неотложку».

Через сорок минут приехала докторша. Осмотрев Веру, которая лежала, как мертвая, сделала ей два каких-то укола,

потом уселась за стол и принялась писать.

– Сколько полных лет? – брезгливо спросила она у Максима.

Откуда ему было знать, сколько. Когда увидел ее на банкете, подумал – лет двадцать семь – двадцать восемь, теперь она выглядела на все сорок.

– Тридцать пять, – сказал он.

– Вы муж?

...Ну что объяснять ей?..

– Муж.

Врачиха покачала головой.

– Как же вам не совестно, молодой человек. Ведь вы же знаете, ваша жена – алкоголичка. Тут с первого взгляда ясно. Надо меры принимать, – в стационар, а вы что? С виду – такой приличный... – Она опять покачала головой, сложила свои бумаги в большую хозяйственную сумку и, поджав губы, пошла к выходу.

Максим молча подал ей пальто.

– Больше не вызывайте, – сказала врачиха уже в дверях, – из вырезвителя команду вызывайте, а я не приеду. Сделаете вызов – заплатите штраф.

Неделю продолжался кошмар. Максим давно уже забыл про свой банкет, про красавицу, похожую на героинь скандинавского эпоса, про дурацкие видения с пляжем в Гаграх. Не мог он отправить ее такую – к Кашубе, не мог ведь! К Кашубе – не мог... И Максим то ходил на работу на полдня

и бежал потом назад, то оставался дома, это – если у Веры наступало просветление и она лежала, тихая и несчастная, и опять давала клятвы, что – все, больше уж – никогда, это точно, только не оставляй меня сейчас одну, я за себя не ручаюсь, что-нибудь с собой сделаю, мне ведь все равно, кому я нужна? Детям? Они – бабкины и дедкины, строители нового общества – лестницу метут...

Максим опять жалел ее, утешал, обнимал, а утром, взяв с нее обещание не выходить и даже отобрав ключ, все-таки шел в институт. Он уже давно не понимал, чего и сам хочет, был себе противен, и то, что происходило ночью, утром вызывало ужас и содрогание. И повторялось.

Вера была на редкость изобретательна. В тот раз, когда Максим забрал ключ, она ведь все-таки ушла, захлопнув за собой дверь, а стоило ему вернуться, как прибежала соседка, сотрудница их института, тихая домовитая курочка. Она сейчас была в декрете и стала умолять, чтобы Максим Ильич скорее шел к ним, забрал свою приятельницу – вломилась днем в совершенно... нетрезвом состоянии... а у нас же Коля в первом классе, вы понимаете?.. Сейчас она спит, но мы больше не можем – она мужа за вином посылала и, знаете, говорила ему такие гадости...

Было очевидно: надо сейчас же отправлять ее домой. Но Вера заявила, что домой – ни за что, ни за какие пряники, лучше с моста в реку или вниз головой в пролет, и она, будь-те уверены, так и поступит. Как Максим мог после таких за-

явлений пойти, скажем, за такси и оставить ее одну? Но продолжаться так дальше тоже не могло.

«Переговорю с Кашубой, завтра же. Некрасиво, неэтично, а что еще делать? Пускай приезжает».

Однако же разговор пришлось отложить еще на сутки. Профессор уехал куда-то на совещание, и весь день в институте его не было. Ключа Вере Максим не оставил. Вчера между ними произошел скандал, и он пригрозил, что, если она опять уйдет, то назад он ее уже не пустит, на что она сперва объявила, что видела в гробу его ключ, его квартиру и его самого, но тут же осеклась и сказала:

– Ладно, не бойся. Я ведь знаю: и так тебя на весь дом опозорила.

Когда Максим вернулся с работы, в квартире было пусто. «Опять, – подумал он обреченно. – Сил уже нет никаких».

И вдруг на столе увидел записку. Только два слова, нацарапанные на обрывке газеты: «Пожалуй, хватит». И больше ничего, даже подписи.

Ну и слава Богу!

Весь вечер он, как остервенелый, убирал квартиру, перемыл посуду, – «пожалуй, хватит». Вот уж золотые слова... вытер пыль, выкинул пустые бутылки в мусоропровод, сменил постельное белье, – хватит, хватит... – подмел пол. В одиннадцать часов, вымотавшись как собака, принял душ. Нет, жизнь все же не так плоха, как недавно казалось... Пожалуй... все хорошо, что хорошо кончается... хватит. А

сейчас надо спокойно, впервые за несколько дней спокойно выпить чаю и лечь. Все хорошо. «Пожалуй, хватит». Да? Да! Ушла домой и оставила записку, чтобы не беспокоился. Очень трогательно, особенно если учесть, что она тут вытворяла. Позаботилась. Хватит, пожалуй...

А что – «хватит»?

А если: «К черту все! Всю эту жизнь! Тебя! Вас всех! Себя саму! Чем хуже, тем лучше. А лучше всего – сдохнуть!» Так ведь она десятки раз говорила? И – под трамвай. Да мало ли способов, а такая психопатка ни перед чем... Именно, конечно же, будь я проклят! А мне-то, мне какое, в конце концов, до всего этого дело?..

Но он был уже на улице, вон – автомат. Гудки. Занято. Придя домой, наглоталась снотворного, теперь там вызывают Скорую помощь. Чертова баба!

Дверь Максиму открыл Кашуба. Не выразив никакого удивления, пропустил в переднюю и, не успев Максим сказать слова, вполголоса позвал:

– Вера, тут к тебе пришли.

За стеной послышался сонный детский голос, потом шаги. Вера вышла из комнаты и аккуратно притворила дверь. В джинсах и белой мужской рубашке с закатанными по локоть рукавами она выглядела очень молодой. Светлые, явно только что вымытые волосы колечками завивались на висках, брови были приподняты.

– В чем дело? – надменно спросила она у отца, не взглянув

на Максима.

Профессор молчал, но не уходил.

– Прошу здесь не шуметь, и так разбудили детей, – недовольно сказала Вера и царственной походкой удалилась в комнату.

– Извини, – с трудом выдавил Евдоким Никитич, в первый и последний раз в жизни назвав Максима на «ты». – Спокойной ночи.

...Вот вам и личная жизнь Максима Лихтенштейна. Больше с Верой он не встречался ни разу, как-то видел издали, но не подошел. ...Нет – Фира, Бэба... От них, видно, не отвертеться...

С Кашубой отношения остались нормальными, ни тот, ни другой ни разу даже взглядом не напомнили друг другу о той неделе. Время от времени профессор появлялся в институте с потемневшим лицом, ходил как в воду опущенный или, наоборот, на всех без разбору орал, потоками исторгая круглые, обкатанные, невыносимые фразы. А потом проходило какое-то время, и он, как ни в чем не бывало, улыбался, острил и рассказывал всякие глупости про Париж.

Глава третья

Инженер

Воскресенье Павел Иванович Смирнов проводил, как обычно, как проводил последние полгода все воскресенья: встал в половине седьмого, стараясь не шуметь, вскипятил чай и поджарил яичницу, потом уложил в портфель продукты для передачи, поставил термос с какао и, выйдя из дому ровно в семь сорок, поехал на вокзал.

Там он купил в кассе-автомате билет до Гатчины, хотел взять обратный, да раздумал, – если повезет, назад можно будет вернуться на попутке или прямым лужским автобусом, так что нечего зря выкидывать сорок копеек, тоже ведь деньги. Что поделаешь, приходилось экономить, зарплата конструктора в тресте составляла сто шестьдесят рублей в месяц, премий никаких не платили, хотя часто обещали, особенно – ему; короче, после всех вычетов и взносов на руки оставалось только-только, в обрез.

Все, кто его знал, считали, что Павел Иванович, имея институтский диплом и отличную голову, мог бы в свои сорок четыре года занимать какую-нибудь приличную должность. А если не занимает, то... Нет, верно, ведь кого ни возьми из выпуска, даже самые тупые, если на заводе, – были сейчас не

ниже замначальника цеха, а если в институте или КБ, – так не ниже руководителя группы. Это – самые тупые. Женщины не в счет, там свои дела, и то, между прочим, толстая Еремеева – главный технолог, а две дуры, Селиванова и Горшкова, защитили кандидатские диссертации. В прошлом году в вузе был вечер встречи, и после того, как вслух прочли анкеты (рассылали заранее такие анкеты: «На ком женат? Где ты теперь? Кого встречаешь из друзей?» и т. д.), так вот, когда огласили ответы Павла Ивановича Смирнова, все стали поглядывать на него: кто – с удивлением, кто – с жалостью, а Селиванова и Горшкова – с удовольствием: учился на повышенную, воображал, от группы вечно откалывался, и вот вам – дооткалывался... Зато Еремеева в перерыве подошла и завела разговор на тему: «Неважно, кем человек стал, важно – каким», то бишь: «Не место красит человека». Никто не решился спросить, но если все-таки спросил бы Павла Ивановича: «Почему ты ничего не достиг?» – и услышал на свой вопрос совершенно искренний ответ, все равно бы этому ответу никогда и ни за что бы не поверил. Потому что ответ был бы идиотский: «Не хотел».

Вы себе представляете? Он «не хотел»! Ну-ну... Расскажи своей бабушке. Это чтобы взрослый, здоровый мужик сам добровольно отказался от приличного места и пожелал прозябать в занюханном тресте простым инженером? На которого даже курьер и уборщица смотрят, небось, как на тайного психа, как мы с вами смотрим на особу, сохранившую

девственность до тридцати девяти лет?

Не хотел...

Закончив институт с отличием и получив назначение в один весьма престижный «ящик», Павел Иванович сразу завоевал расположение начальства. Особенно после того, как выдал одну очень простую идею, которая, однако, при всей своей простоте позволила пересмотреть и в корне изменить конструкцию и принцип работы некоего... скажем, объекта или точнее – заказа^[82]. Используя эту идею, переменили направление работ конструкторы, кибернетики, электронщики, механики, словом, половина организации. Павел же Иванович в это время подал еще три заявки на изобретения, касающиеся совсем новых, других дел, перечислять и даже упоминать которые мы здесь ни в коем случае не будем, – это вам не «Червец», тут вещи серьезные.

Механики, кибернетики, технологи, конструкторы и рабочие тем временем воплотили ту, первую, идею Павла Ивановича и создали в металле нечто грандиозное, которое и было немедленно выдвинуто на соискание. И вот тут-то произошел скандал. Дело в том, что высокая Премия обычно дается коллективу, насчитывающему не более двенадцати человек. Коллективу! Поскольку «единица – ноль»^[83], и это всем известно. После того, как одно место из двенадцати было предложено начальнику главка, еще три – заводам-смежникам, а два – заказчику, на предприятие Павла Ивановича пришлось оставшиеся шесть мест. И их по справедливо-

сти разделили между директором, представителем рабочих (новатор, кавалер орденов), двумя конструкторами, главным механиком и одним из кибернетиков. Их вклад в дело был очевиден, их руки в течение нескольких месяцев упорного труда сделали лучший в мире самонаводящийся, самокорректирующийся, само... словом, замечательный, будем говорить... агрегат. Выдвижение кандидатур прошло в единодушно-праздничной обстановке, все было прекрасно, если бы при этом не присутствовал некий Зайцев, только что выбранный член комитета комсомола, молодой специалист и большой любитель борьбы за правду. Этот Зайцев, не согласав ни с кем своего выступления, вылез на трибуну и, заикаясь, начал:

– Пп-посс-тойте, то-то-варищи! Кка-к же это при... прикажете понимать? По-по-ччеему в списке нет фа-фа-ми-лии С-с-смирно-ва? В ведь эт-то его п-предло-дло-ж-жение, в-все зна-а-знают...

Дальше Зайцев понес что-то уж вовсе бессмысленное и непонятное, и в зале поднялся возмущенный гул. Дурак испортил песню, следовало поставить его на место, и эту задачу взял на себя главный конструктор предприятия, уважаемый немолодой человек. Не повышая голоса, он спокойно и доходчиво объяснил, что заслуг молодого инженера Смирнова никто умалять не собирается, у парня безусловно прекрасная голова, и если он будет так же творчески работать впредь, то его ждет большое будущее. Но пока он только еще

в начале пути. А что касается данной работы, выдвинутой на Премию, то, положив руку на сердце, согласитесь: вклад Смирнова... ну, как бы это выразиться?.. Случаен. Да, случаен. Ему пришла в голову хорошая мысль, это верно. Она могла прийти на ум и кому-нибудь другому. Идеи носятся в воздухе. А главное, товарищи, – из одной мысли, как говорится, шубы не сошьешь. Для расчетов, для разработки технологии, а в основном, конечно, для конструкторских работ, нужна высочайшая квалификация! Для изготовления деталей и сборки требуются поистине золотые руки, потому что это тонкая, ювелирная, товарищи, работа. И вот теперь, товарищи, давайте честно скажем – кто больше достоин: люди, вложившие в этот заказ многомесячный творческий труд, люди, всей своей предшествующей деятельностью заслужившие Премию, или же – пусть талантливый! – но очень еще молодой специалист, который в результате пятнадцатиминутных размышлений «на тему» наткнулся на простую, лежащую на поверхности, хотя и – кто же спорит? – оригинальную и полезную, товарищи, идею?..

Главный конструктор говорил так долго и так хорошо, что сумел исправить испорченное было праздничное настроение присутствующих. Он был, по-видимому, оратором высокого класса, потому что сумел сделать так, что к концу его речи о Зайцеве все забыли, и дело кончилось аплодисментами, единогласным принятием списка для дальнейшего рассмотрения на Техническом совете и поздравлениями выдвину-

тых кандидатов. Зайцева же на следующий день пригласили в партком, да не одного, а с комсомольцем Смирновым, и больше часа выясняли, зачем Смирнов подбил товарища на эту некрасивую выходку. Тут же, конспективно пересказав вчерашнюю речь главного конструктора, Павлу дали понять, что претензии на Премию – смехотворны, однако за творческую активность его справедливо похвалили и обещали проследить, чтобы при следующих выборах он был включен в Совет молодых специалистов.

Надо сказать, что главный конструктор не бросал слов на ветер, когда обещал Смирнову большое будущее: через год того повысили до старшего инженера, еще через год – до ведущего, а в двадцать семь лет он был уже начальником сектора.

И вот тут это произошло в первый раз. Ничего особенного – проводилось очередное сокращение, из сектора Павла Ивановича нужно было уволить одного человека. Это еще повезло (сектор был важный) – всего одного из десяти, в других секторах сокращали и по двое. И без разговоров. Павел Иванович заметался: почему, за что должен он сейчас вызвать к себе ни в чем не повинного, спокойно живущего и работающего человека и так ему врезать? По всему городу сокращение, места сейчас нигде не найти, формулировка «по сокращению штатов» хуже клейма, известно ведь, что сокращают худших, да и кого выбрать? Подумав, Павел Иванович пошел к заведующему отделом и объявил, что таких, кого надо уво-

лить, по его мнению, в секторе нет. «Ну, это ты брось, вызови... ну хотя бы... Дмитриеву, пусть идет на инвалидность, ведь еле ходит, артрит... жаль, конечно, но ты же понимаешь – «мертвая душа», чуть что – бюллетень. Ей и самой, в конце концов, лучше – пенсия... Так? Вот и договорились».

Павел Иванович знал, что работник Дмитриева хороший, а пенсию по инвалидности получит ничтожную, да и получит ли еще, что качать права она не станет, предложат – уволится, а живет одна, все ее дела, дружбы и интересы – тут, в отделе, да и что ей делать дома? Выть с тоски? Так он, подумав, и сказал начальнику. Тот посмотрел на него, покачал головой и вздохнул: «Иди, работай, сокращением я сам займусь, а то вы, молодые, больно все чувствительные, хотите быть добренькими за государственный счет, а у нас тут не райсобес. Ладно. Пусть я буду злой...»

Через две недели Дмитриева ковыляла с «бегунком», а Павел Иванович сидел за своим столом, не смея поднять глаз.

Прошло некоторое время, и одна из сотрудниц отказалась ехать в командировку – не с кем оставить ребенка. Павел Иванович немедленно предложил поехать одинокому ведущему инженеру, и тот зашелся от гнева: «Вы что же делаете, работа не моя, и, значит, если у человека нет детей, так он в каждой бочке затычка? Я полтора года без отпуска, это произвол, а Воронкова, между прочим, прекрасно может поехать, «ребенку» тринадцать лет, поживет неделю и один. Вы

думаете, на вас управы нет? Ведете себя, как какая-то держиморда...» В секторе тут же разгорелся невероятный скандал. Реализуя застоявшуюся общественную активность, коллектив разбился на две группы, которые, переругавшись, вломились в закуток, где было рабочее место Павла Ивановича, и, перебивая друг друга, начали орать, что – безобразие, по положению матерей нельзя посылать без согласия, а ездить за других – никто не обязан, пусть съездит сам, тогда поймет! Что в секторе нет порядка и дисциплины, один базар, и некоторым всегда можно все, а другим – никогда ничего!

На следующий день Павел Иванович поехал в эту командировку сам, а потом получил от начальника разнос, в общем, справедливый: разводишь либерализм, пора научиться работать с людьми, чтоб это было в последний раз, понятно?

Вот тогда Павел Иванович и подумал (впервые), что с людьми работать он не может. Ему органически противно было принуждать...

Дисциплина в его секторе, между тем, делалась день ото дня хуже. Из парткома он не вылезал, вызывали чуть ли не каждую неделю: как субботник по уборке территории района, как надо посылать людей на стройку, овощебазу или в совхоз, так у других ездят безо всякого, а у Смирнова – опять демагогия, опять срыв мероприятия, не понимает важнейших задач, сам распустился и людей распускает. Через полтора года после назначения на пост начальника постылого сектора, поощряемый общественными организациями, Па-

вел Иванович подал, наконец, заявление об уходе. Завотделом завизировал заявление с удовольствием, главный конструктор – с некоторым сожалением, и потом еще вспоминал, что вот ведь как бывает: подает человек надежды, вроде бы способный, даже талантливый, а приглядишься – мыльный пузырь. Не состоялся Смирнов, не состоялся, выходит, правы мы тогда были, награждать надо по совокупности, а не кого попало...

Потом было еще несколько мест работы, но сходные ситуации беспощадно возникали каждый раз, как только Павел Иванович, пусть временно, становился хоть каким-нибудь начальником. В конце концов шесть лет назад он с должности ведущего инженера НИИ, где ему временно пришлось исполнять обязанности посланного на Кубу руководителя группы, закатился простым инженером в отдел механизации жалкого треста, потеряв при этом шестьдесят рублей зарплаты. Толчком послужила кампания по отправке на пенсию лиц, достигших предельного возраста. И. о. руководителя группы Смирнов вдрызг переругался с начальством и подал заявление вместе с пенсионерами, правда, ему на прощание цветов не дарили и не говорили с бодрым сожалением: «Не забывают нас!»

Работа в тресте – вот, оказывается, что было нужно: кульман, окно в тенистый сад, электроплитка, на которой можно согреть чайник, и никакой перспективы административного роста. Зато полная свобода действий и почтительно-восхи-

ценное отношение руководства.

А с какого-то момента даже слегка испуганное. Ибо трест вдруг незаметно, без шумного взятия обязательств и встречных планов, без починов и дополнительного финансирования сверху, – из последних, чуть ли не самых затюканных, бочком-тишком выбился в люди. И теперь на городских и областных совещаниях в его адрес вместо привычной окаменелой ругани – одни похвалы. А директор отлично знал – все дело в остроумных и дешевых разработках инженера Смирнова. Единица тут оказалась отнюдь не нулем, больше того – неким центром кристаллизации. Замечено было: вокруг спокойного, невидного (потому что все время занят) Павла Ивановича мало-помалу образовалась какая-то особенная атмосфера, когда остальным стало вроде и неловко валять на работе дурака, и все они теперь... в общем, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!

Завотделом механизации, непосредственный Павла Ивановича начальник, не раз солидно шутил, что Смирнов, мол, у нас вроде Тома Сойера: ну, тогда, при покраске забора, пацан всех убедил, что красить – самое увлекательное и завидное занятие. Правда, в отличие от шустрого Тома, наш Смирнов, взбаламутив остальных, и сам не сидит в стороне, а вкалывает будь здоров! Шутка начальника обычно завершалась вздохами и кряхтением на тему, что у нас – вот безобразие! – невозможно увеличить человеку оклад только за то, что он – настоящий работник! Надо, понимаешь, непре-

менно повысить его в должности, а где напасешься должностей? Штатное расписание, сами знаете...

Однажды в самом начале рабочего дня завотделом подошел к кульману Павла Ивановича, помялся, заглядывая в лист ватмана, и, вдруг засопев, ни с того ни с сего спросил: правда ли, что вчера заходил этот прохиндюга Михеев, главный инженер 35-го треста? Девочки сказали, полдня проторчал.

– Заходил, – кивнул Павел Иванович, несколько удивленный злобной горячностью начальства.

– А зачем? Нет, вы скажите – зачем? – заволновался тот, и Павел Иванович, взглянув ему в лицо, удивился еще больше, увидев в глазах беспокойную подозрительность.

– Да так... Поговорить... – ответил он. – Консультация ему нужна, у них там с подъемниками что-то...

– Ах, консультация. С подъемниками... – перекосясь вдруг завотделом и резко добавил: – Вы ему, Михееву, не очень-то верьте, человек скользкий, прямо глист! Короче говоря, трепло.

Через неделю Павла Ивановича неожиданно вызвал к себе директор. Завотделом находился там же. Смирнову было сделано неожиданное предложение возглавить вновь организуемый отдел подготовки производства. И добавлено, что должность «пробили» специально для него.

– Я уже и кандидатуру вашу согласовал, – радостно возгласил директор. – И оклад в полтора раза выше, так что са-

ми видите... А фактически вся работа ваша останется за вами. А?

Было ясно: речь шла о липовой должности, «пробитой» с самыми добрыми намерениями, и Павел Иванович спокойно, но твердо сказал, что ни на какие руководящие посты не пойдет. И вообще вполне удовлетворен тем, что имеет сейчас.

– Что значит – «удовлетворен»? – вскинулся заведомом. – А денег вам как прибавить? Вы что, маленький? Не понимаете?

– Премий у нас три года нет и когда еще... – напомнил директор.

Павел Иванович развел руками: ну что поделаешь? Может, еще и будут, а в начальники... это не для него.

– Ага. Это, чтобы я... чтобы мы тут каждый день сидели-ждали, что вас переманит Михеев? – Заведомом аж пятнами пошел. – Только потому, что у них объекты выгодные?

– Махинатор он, ваш Михеев! – загремел директор. – Махинатор и жулик! И все они там... Ну, ничего, скоро их всех разгонят к чертовой матери! А кого надо, и посадят! За Михеева лично я ломаной копейки не дам! Дачу себе отгрохал, паразит! – что твой Зимний дворец... Сядет, увидите, и других потащит.

Павел Иванович отвернулся, чтобы скрыть улыбку. И заверил руководство, что 35-й трест ему даром не нужен, ему

и тут хорошо. А с деньгами... как-нибудь уладится.

– Это вы кого же утешаете? – окончательно взбеленился директор. – «Ула-адится»... Да как оно уладится-то? Ежели бы от меня зависело, я бы таким, как вы... Ладно. Идите, работайте. Будем думать.

Его оставили в покое. Возможно, директор что-то такое и думал, да что тут придумаешь? Павел Иванович работал, получал свои сто шестьдесят – сто сорок на руки – и старался сводить концы с концами. А заводделом угрюмо бросал на него подозрительные взгляды, но помалкивал. Только делал время от времени какое-нибудь предложение: командировка летом в Феодосию для обмена опытом или бесплатная путевка в Кисловодск: «Вам пора подлечиться, все лечатся, а вы что, бобик?» Или просил написать заявление на материальную помощь в конце года: «С месткомом я договорился, дадут точно». Путевок Павел Иванович не брал – не хотел оставлять мать, матпомощь получать считал неудобным: «Не погорелец».

Он знал, что в глазах многих, в том числе хотя бы соседей Антохиных, выглядит со своим чистоплюйством полным дураком. Ну и ладно.

Мать, между прочим, всегда одобряла образ жизни Павла Ивановича: «Бог с ней, с карьерой, разве в ней счастье? Главное, Павлик, что для тебя твое дело важнее денег, значит, ты сумел остаться честным человеком, понимаешь? Честным! Это важнее всего, запомни, важнее любых зарплат и постов.

Душу сберечь...»

Теперь, когда матери рядом не было, когда поговорить и посоветоваться (а он привык с детства советоваться с ней во всем) стало невозможно, Павел Иванович старался все делать так, как сделала бы она, начиная с пустика, хотя бы с мытья посуды (сперва как следует намылить, потом смыть горячей водой, потом – окатить холодной), и кончая отношениями с людьми. Он долго обдумывал, как вела бы мать себя с Антохиными, окажись она на его месте. И пришел к выводу, что общаться с ними она, конечно, не стала бы. Но и ненавидеть тоже: «Знаешь, Павлик, нет на свете более бесплодного, опустошающего чувства, душу сжигает. Это неправда, что бывают ситуации, где нужна ненависть. Нигде она не нужна, даже на войне, пускай самой справедливой. Нужно сознание долга: ты обязан выполнить тяжелый, страшный, но – долг. И ненависть тут не помощник, она только глаза кровью заливает, мешает увидеть, где враг, а где... и вообще такой человек, ну, который ненавидел, он уже ни на что не способен, пустой изнутри. Из зла не может быть добра».

Еще она говорила: «Перечитываю дневники Толстого, и вот о чем все думаю – в чем величие Христа? Думаешь, в том, что Он взошел на Голгофу, чтобы пострадать за всех? Таких подвигов много было, главное не это. Суметь полюбить ненавидящих тебя – вот это подвиг. Я как-то раньше не понимала, думала, человек на это не способен, а ведь это счастье – суметь в ответ на зло не почувствовать ненависти!»

Не то, что простить: простить – это судить и как бы отпустить грех, то есть себя заранее поставить выше. А просто постараться в ответ на злобу – понять, пожалеть, увидеть в обидчике человека. Может, страдающего... Это очень трудно, конечно, почти невозможно, но это счастье... И второе – раскаяние. Но тут уж никто, наверное, до конца не способен – чтобы искренне, без ссылок на разные там обстоятельства. И не то, что – «не надо меня наказывать, я больше не буду», а по-настоящему – вдруг увидеть, какое ты ничтожество... Не знаю... Я недавно всю жизнь свою перебрала – и, представь, не вспомнила ни одного случая полного, абсолютного раскаяния. А было в чем. Беспринципность, трусость... Что говорить! Ребенка потеряла...»

Да, только с ней, с матерью, возможны были такие разговоры. Теперь ни поговорить, ни посоветоваться не с кем – не сумел завести друзей, не смог построить собственной семьи. Урод.

Иногда Павлу Ивановичу почему-то казалось: подружись он хотя бы с этим дворником, Максимом, может, и стали бы они близкими людьми, по-настоящему близкими. Но не получилось... А раздумывать, как вела бы себя мать с соседями, окажись она на месте Павла Ивановича... Просто смешно! Да не могла она оказаться на его месте! Он отдал ее в больницу, а она его – никогда бы не отдала...

Выходной день

В «хвост» обычно садились те, кто ехал туда же, куда он, и, войдя в вагон, Павел Иванович сразу увидел знакомые лица, а про некоторых незнакомых тоже мог бы с уверенностью сказать, что они – туда: было легко вычислить по брюхатым сумкам, откуда высовывались горлышки неизменных бутылок с фруктовым соком.

Это были почти сплошь старухи, а у редких, что помоложе, на лицах лежала отчетливая тень того мрачного места, куда они сейчас ехали, и потому невозможно было определить – сорок тут лет или все шестьдесят. Они сидели группами, и то с одной, то с другой стороны до Павла Ивановича доносились обрывки негромких разговоров: «Где брали яблочный сок? Я весь город обегала, нигде...» – «...Всегда на Сытном, в кооперативном ларьке, там, конечно, дороже...» – «Вы что, думаете, им все достается, что мы приносим? Дай Бог, если половина, это еще – дай Бог! Половину сестры растащат, остальное – другие больные отымут, кто побойчее. Наш вон – он ведь ни спросить, ни сказать – ничего не может...» – «С десятого обещали карантин по гриппу, пускать не будут, только передачи...»

...Поезд уже шел. Вагон мотало. Синие зимние пейзажи назойливо липли к окнам. Почему-то безвкусными, вызывающими казались сейчас расфужеренные заиндевевшие де-

ревя и непристойно яркие фигурки лыжников на засахаренной снежной целине.

Павел Иванович вспомнил, что, когда ехал этой дорогой в первый раз, осенью, то яркие краски, все эти «багрец» и «золото», показались ему отталкивающими... А мать любила осень, уезжала одна в Павловск и бродила там весь день по парку. Брала с собой томик Пушкина, и Павел Иванович еще над ней посмеивался: поэтическая старушка... Впрочем, она и зиму любила ничуть не меньше, всегда радовалась, как празднику, первому снегу. И лето. И весну...

Перед Гатчиной население вагона засобиралось; поезд только отошел от Мариенбурга, а все уж потихоньку продвигались в тамбур – от Гатчины еще двадцать километров, надо успеть занять очередь на автобус, ходит он редко, набитый под завязку, тащится сорок пять минут, постой-ка на ногах, да с таким грузом!

Павел Иванович вышел из вагона последним, но, широко шагая по засыпанной снегом высокой платформе, скоро всех оставил позади, и от этого ему почему-то сделалось неловко.

В большой рыхлой очереди на автобусной остановке (видно, предыдущий автобус не всех забрал с электрички в семь сорок) стояли тоже, в основном, старухи, стояли терпеливо, истово, никто не роптал, не толкался и не лез вперед. Поклонившись нескольким знакомым, Павел Иванович огляделся и стал уже подумывать, не пойти ли на такси, – черт с ней, с экономией, – мороз, но тут на аллее, ведущей от дворца

к вокзалу, забрезжил старенький, осевший на один бок автобус, и очередь радостно задвигалась, непонятно по каким признакам издали определив: наш.

И опять прекрасные, но чужие, мелькали за полузамерзшими стеклами зимние поля и рощи, отрешенно синело низкое небо, глядящее мимо, вспыхивал солнечный луч в витрине раймага, возле которого переступала высокими ногами крутозадая лошадь, запряженная в розвальни.

...Таким же морозным утром во время войны, в оккупации, они с матерью ехали куда-то в розвальнях, мать держала его, восьмилетнего бугая, на коленях и все старалась прикрыть от холода расстегнутыми полами своего пальто. А ему ни капли не было холодно, а весело и уютно – тихие сероватые сугробы стеной стояли по обеим сторонам дороги, снег визжал под полозьями, и было не страшно – пусть хоть волк выбежит на дорогу, пусть хоть даже немец. Он не помнил, куда и зачем они ехали. И мать теперь ни о чем не спросишь, а значит, канул, провалился в тартарары конец этой зимней дороги: чего никто не помнит, того не было.

Впрочем, многое Павел Иванович помнил очень ярко. Например, первого фашиста, которого он увидел вблизи. На фашиста этот стройный, красивый человек, так хорошо говоривший по-русски, совсем не был похож, но это все же был настоящий фашист – в черном мундире, с красной повязкой, с молниями на петлицах, эсэсовец. Павлик с соседской Галей качались в саду около дома на качелях, и вдруг

появился этот немец, подошел к ним и начал расспрашивать. Как зовут? Как фамилия? Кто родители? Павлик не сказал, что отец на фронте, мать предупреждала – не говорить. Сказал – в Ленинграде. Немец закивал, заулыбался: очень красивый город, я там бывал. Потом вдруг спросил, есть ли у них игрушки. Павлик подумал: хочет отобрать, и помотал головой. Тогда фашист сказал «пошли» и, не оборачиваясь, направился к калитке, а Галя с Павликом побежали за ним. Он был не страшный, этот немец, он повел их в пустой, заброшенный детский сад, где на полу горой лежали медведи, куклы, машины, кубики. Павлик взял себе игрушечный паровоз с вагонами и ружье, а Галя – мяч и большого целлюлозного пупса.

Павел Иванович хорошо запомнил, как мать плакала и ругала его, как отобрала игрушки и спрятала куда-то...

...Высокая железная арка замаячила впереди, слева от дороги. Автобус начал повизгивать и остановился. Оставшиеся полтора километра предстояло пройти пешком.

Здесь, на открытом месте, ветер бил наотмашь. Павел Иванович поднял воротник пальто, опустил уши у шапки и, миновав арку, кренясь, зашагал влево по неширокому извилистому шоссе.

Сколько раз в прошлые годы, проезжая здесь в экскурсионном автобусе (куда-нибудь во Псков или Пушкинские Горы), видели они с матерью этот поворот дороги, холм над прудом и парк с беседкой-ротондой, а на вершине хол-

ма, среди крон старых деревьев – желтый барский дом. Павел Иванович смотрел тогда и думал, что, наверно, в этом бывшем имении теперь расположился какой-нибудь привилегированный санаторий, пока дальнотворная мать однажды не прочла над железной аркой: «Психиатрическая больница»^[84]. Прочла и поежилась, потом сказала:

– Ничего нет страшнее... «Не дай мне Бог сойти с ума...»

Но даже сейчас, совсем в другом бытии, точно упрямый мираж, встала перед Павлом Ивановичем патриархальная усадьба, столетний заиндевевший парк, засыпанный пухлым снегом пруд с горбатым мостиком, дом с колоннами, беседка на берегу. Но по мере того, как усадьба приближалась, выглядывала из-за расступающихся деревьев, очеривалась низкими, одинаковыми корпусами из серого кирпича, мираж таял и распадался. Так бывало в детстве, сразу после войны, в Ленинграде – видишь перед собой дом с веселенькими окошками, а он, оказывается, нарисован на деревянных щитах, прикрывающих руины.

Павел Иванович шагал по середине дороги, огибающей пруд, легко обгоняя медленно бредущие группы или одиноких путниц с сумками, переброшенными через плечо, в бедных, давно изношенных пальто и даже в деревенских плюшевых жакетах, в платках, повязанных до бровей. Терпеливо шли они, точно странники на богомолье в Святую землю, изготовясь на долгий путь, конца которому не видать ни там, впереди, у ворот проклятой больницы, ни завтра, ни через

год. Они мелко ступали по жесткой, звенящей от холода земле, покорно пригнув навстречу ветру головы и опустив плечи, в который раз за свою жизнь одолевая этот участок дороги – от автобуса до проходной, к которой сейчас уже приближался Павел Иванович.

Он прибавил шагу, но, подойдя, понял, что спешил напрасно: в будке дежурила молодая собачливая сестра в лаковых сапогах-чулках^[85], а про нее хорошо известно: раньше десяти, удавись, – не пустит.

А было еще только без четверти. Озябшая толпа покорно жалась к забору, сестра, хорошо видная через большое, чистое окно, с непреклонным видом читала газету, сидя за столом, возле которого сыто багровел электрический камин. Время от времени она бросала в окно гневные взгляды: делать им нечего, притащились ни свет ни заря. Нравится стоять? Стойте!

Ветер усилился и злобно погнал поземку.

– Околеешь тут, ждамши, – послышался одинокий неуверенный голос. – Морозят людей, точно скотину.

Павел Иванович усмехнулся: такие высказывания позволяли себе только «новенькие». Те, кто поездил сюда годы, а то и десятки лет, давно приобрели угодливую покладистость и смирение, без этого было бы и вовсе не выдержать, – где возьмешь силы еще и на борьбу с самоуправством, когда в руках у них день и ночь бесконтрольно и безответно мучается родной тебе человек!

– Их дело – не пускать, а наше дело – стоять да помалкивать! Нам дай волю, мы всю больницу по клочкам разнесем. Напрочь.

Дельную эту тираду произнесла такая ветхая, чуть живая, почти и не видная старушонка, что трудно было представить, каким образом она дотащила до ворот свое собственное тело.

Ровно в десять неколебимая владелица лаковых сапог важно отперла вход, толпа хлынула в больничный двор и сразу разбилась на ручейки и потоки, устремившиеся к разным корпусам. При входе тоже никто не роптал и не толкался, однако очутившись во дворе, заторопились, прибавили шагу, кое-кто даже побежал, осев под тяжестью сумок и подволакивая ноги.

Павлу Ивановичу неловко было обнаруживать перед старухами особенную прыть, не спеша добрел он до дверей нужного ему отделения и все-таки успел: вошел в бокс в первой пятерке и оказался четвертым в очереди к столу, где сестра со сдобным деревенским лицом принимала передачи. Из стопки пластмассовых и эмалированных мисок он привычно вытащил синий полиэтиленовый таз, на котором химическим карандашом было написано «СМИРНОВА». В таз он выложил продукты, поставил банку с компотом и бутылку яблочного сока, и тут как раз подошла его очередь к сестре.

«Смирнова. Сын. Апельсины 6 шт. Яблоки 12 шт. Вафли 3 пачки. Масло 200 гр. Сок 1 бут. Компот 1 банка». – Сест-

ра медленно выводила корявые буквы в тетради в косую линейку.

– Масло подпишите, его – в холодильник, – велела она, подняв лицо от тетради.

Павел Иванович четко вывел фамилию на пачке с маслом, расписался под перечнем сданных продуктов, отошел и присел на стул, поставленный по соседству, пододвинув еще один, свободный, – для матери.

Сестра приняла передачу у всех пятерых, что были сейчас в боксе, потянулась, закрыла тетрадь, подошла к стеклянной двери в коридор и, убедившись, что там скопилась основательная очередь, покачала головой. Но напрасно, – в дверь никто не лез.

Тогда она вынула из кармана специальный ключ, какими пользуются проводники в поездах, заперла дверь в коридор, прошла вдоль бокса, открыла дверь на отделение и исчезла за ней. Щелкнул замок. Теперь посетители были отделены и от внешнего, и от внутреннего мира. Голос сестры за дверью монотонно выкликал: Анищенко, Поляхина, Вахлакова, Смирнова, Фельдман...

В боксе было тихо, только бумага шуршала – все, торопясь, выкладывали из сумок гостинцы – то, что можно скормить прямо сейчас, за считанные эти минуты. Были тут завернутые в шерстяной платок и газету кастрюльки с жареной картошкой и домашними котлетами, были испеченные этой ночью пироги, всевозможные баночки – с салатами, творо-

гом, сметаной, были миски, тарелки, термосы. Павел Иванович достал из портфеля два бутерброда с черной икрой и материн любимый яблочный пирог. Все это было куплено вчера в «Кулинарии».

...Горячие пироги с яблоками мать всегда привозила ему в послевоенный голодный пионерлагерь, в Сестрорецк, он ел, глотал, не жуя, а она смотрела. Те пироги она пекла сама, хотя вообще готовить не любила...

Потом он вынул термос, и тут щелкнул замок.

Они вошли гуськом в сопровождении сестры, все пятеро.
– Здравствуй, мама.

Мать стояла покорно и неподвижно. И, как всегда, молча. Послушно села и принялась безразлично жевать бутерброд, запивая его какао, кружку Павел Иванович подносил вплотную к ее губам.

Дочь Поляхиной переодевала матери чулки. Анищенко плакала, глотая кефир. Фельдман, резко оттолкнув блюдечко с творогом, которое протягивала ей как две капли воды похожая на нее горбоносая старуха, вдруг громко и плаксиво закричала:

– Я не только агитатой!.. Я и п’опагандист! Пгинеси мне т’етий том Ма-а-кса!

Вахлакова жадно и торопливо ела салат, запихивая его в рот горстями. По подбородку ее текла сметана.

Сестра посматривала на часы – за стеклянной дверью уже волновались.

Татьяна Васильевна проглотила последний кусок пирога, встала из-за стола и, как всегда, не взглянув на сына, шагнула прочь.

Свидание окончено.

...Назад идти легко. Легко, во-первых, потому что дорога все время вниз, с холма. Во-вторых, ветер теперь в спину, в-третьих, с пустым портфелем. ...В-четвертых, потому что – вниз, в-пятых – ветер в спину, и потом – пустой портфель. Легко?..

Небо над деревьями было плотным, как вода, и таким же, как вода, зеленоватым.

...Зеленоватый свет падал с улицы в комнату тогда, сразу после войны. Через два дня после приезда мать достала где-то стекла. Вот повезло-то, Павлик, так дешево! Наверно, краденое.

Настоящие стекла вместо фанеры. Зеленые стекла, зеленый свет, у мамы зеленое лицо. Жарко, скарлатина. Не бойся, не отдам в больницу, не бойся! Смотри, какой свет, как на дне моря, правда? Смотри, мы с тобой живем на дне моря, как Русалка, помнишь? Ты – морской конек, а я медуза. Не плачь. Вот это настоящий клюквенный кисель, пей. Раз я обещала, так и будет, ничего не бойся...

Не отдала.

...Они жили вдвоем. На отца еще в сорок втором пришла «похоронка», пришла в Ленинград, но они не знали почти до конца войны, потом соседка написала, когда кончилась ок-

купация, когда мать уже младшего сына потеряла и похоронила деда. Все говорили – это счастье, что дед умер до прихода наших.

Дед был врачом, оперировал всю жизнь в сельской больнице. Кстати, больницу оккупанты не тронули. Но – да! – лечил и их. Спорили по ночам с матерью, дед кричал:

– Для меня больной – прежде всего больной, а уже потом – свой или чужой.

– Они же наших убивают, пойми ты! – шептала мать.

– Вот и пускай наши их убьют. Потом! Застрелят в бою. А я не стрелок. Лекарь!

Вот теперь вспомнил Павел Иванович, куда они с матерью ехали по зимней дороге в розвальнях! Накануне деда вызвали в комендатуру, вернулся он поздно, злой, потерянный, и заявил матери, что фрицы, видимо, драпают, потому что своих раненых из больницы будут вывозить, и ему приказано в двадцать четыре часа собраться и сопровождать их до ближайшего госпиталя.

Дед исчез в ту же ночь, а к концу следующего дня, уже в сумерках, в доме появился старик в тулупе. Павлик с матерью шли за ним дворами, и на краю села, у леса, их ждала лошадь с санями.

Дед умер через неделю на хуторе. Там они прятались до прихода наших. Умер от воспаления легких. Мать потом, после войны, несколько раз вызывали, да как-то обошлось, а Павел уже много позже, поступая в институт, ежась, писал в

анкете, что был на оккупированной территории^[86]; смотрели пристально, но ничего – приняли...

...Легко еще и потому, что дорога домой всегда короче. Это – в-шестых.

Всю дорогу в электричке Павел Иванович проспал.

Фонари не горели. По двору, шагах в десяти перед ним, медленно брела женская фигура. Женщина шла, как давеча шла его мать, – никуда, точно слепая, вытянув руки. Пошатываясь. Нашупав дверь, принялась шарить по ней, потом замерла и вдруг начала сползать вниз, на землю.

Когда Павел Иванович подбежал, она сидела перед дверью. Шуба распахнулась, меховая шапка съехала на лицо. Это была Вера Кашуба, соседка, профессорская дочь.

В те далекие времена, когда отношения были еще человеческими, Алла часто говорила, что с такими данными, как у Веры, можно было бы многого достичь, с ее возможностями любая нюшка будет смотреться, а Вера – не нюшка, порода есть порода, вот и в вас, Павлик, чувствуется порода, но только вы – вырождаетесь. И за собой не следите. Не злитесь! В хороших руках вам бы цены не было... А эта... женщина... Мне даже неудобно сказать, вы – мужчина, ну... вы понимаете? Как это – «не слышал»? Сочиняете! Все знают, ее и муж за это бросил. С двумя детьми бросить – это силу воли надо иметь. Кашуба, конечно, переживает.

Как-то спрашиваю: «Евдоким Никитич, что это вашей Верочки давно не видно?» Он – глаза в разные стороны: «В ко-

мандирувке», – а все знают, что она не работает, дома сидит после запоя. За-по-я. Нет, я этого не понимаю, зачем люди врут?

Павла Ивановича Алла в те времена еще уважала, он звал ее на «ты», а она говорила ему «вы» и называла «старший товарищ».

Дом... Книги, портрет деда над пианино, серебряные ложки с монограммой... чай – всегда на крахмальной скатерти. Тетя Зина, Аллина мать, говорила: «Был бы ты, Павлик, помоложе, за тебя бы дочку с руками отдала, так и жили б одной семьей, и квартира бы тогда – отдельная считалась, не как сейчас». Врала: и так бы отдала, десять лет разницы – чепуха.

Мать сказала: «Ты меня убьешь, Павлик, знай. Нет, нет, не надо демагогии, ты прекрасно понимаешь: я не это имею в виду, мы тоже не Бог весть какие графья, но они – по сути плебеи, по существу. И не в образовании тут дело, не в происхождении, даже не в воспитании. Боже, сколько я встречала благороднейших, внутренне интеллигентных людей, бывало, что и совсем неграмотных...»

Зря мать горячилась, – не так себе представлял Павел Иванович свою будущую жену и семейную жизнь...

А Аллочка, не торопясь, нашла положительного иногороднего Антохина. Свадьбу сыграли по всем правилам: Дворец, машина, бал в ресторане, – тетя Зина последнее вытряхнула. Потом молодого мужа прописали на жилплощади Фи-

лимоновых, а вскоре тетя Зина стремительно собралась и уехала погостить в деревню к сестре. И больше не вернулась. «Под старость тянет к истокам, правда, Валерик? Маме там, безусловно, лучше, просто ожила – и корову доит, и в поле работает. А тут сидела бы старухой-пенсионеркой, вот и досиделась бы, как некоторые... Там и молоко свое, и овощи свои, нет, не понимаю я людей, которые...»

Алла редко понимала глупых и ленивых, не говоря уж о расфуфыренных профессорских дочках, которые ведут себя хуже женщин легкого поведения.

Сейчас профессорская дочка, скрючившись, сидела на крыльце перед дверью. Бессмысленное бледное лицо ничем не отличалось от тех, на какие Павел Иванович сегодня уже посмотрелся. Пустые, остановившиеся глаза. Плаксивая сползающая улыбка...

Он поднял ее и поставил на ноги. Потом открыл дверь. Всхлипнув, она шагнула в парадную, покачнулась, но сразу ухватилась за перила. И начала подниматься, нашаривая ногами ступеньки.

Глава четвертая

Успехи в работе

Но ведь успех – понятие весьма и весьма относительное. Квартальный план лаборатория успешно выполнила на две недели раньше срока. И отчиталась. Сегодня было уже ясно, что по итогам соцсоревнования^[87] она займет классное место, если, конечно, до первого апреля не случится какое-нибудь ЧП: никто из сотрудников не попадет в вытрезвитель, не прогуляет без уважительной причины или, скажем, не возникнет пожар от небрежной сигареты. Но это все – «если», это все – «бы» и разные «а вдруг»; а пока что все тихо, безоговорочный претендент на вытрезвитель слесарь Денисюк, слава Богу, на больничном, а лаборатория – на верной дороге к премиям и портретам на Доске почета. Так держать.

Научная работа по проблеме «Червец» шла вперед семимильными, как пишут, шагами. Программа исследований утверждена, и, к чести Евдокима Никитича Кашубы, надо отметить, что и после коренных переделок (по указанию совета) она ничем не отличалась от той, что была составлена им первоначально (по вдохновению). Пришлось лишь исключить все виды исследований, которые требовали применения разрушающих нагрузок и высоких температур с агрес-

сивными средами, ибо охрана окружающей среды и защита живой природы – наш святой долг, так что главное, дорогие коллеги, – длина, ширина, толщина и вес животного! Длина. Ширина. Толщина. И вес! Максим уже исписал три толстых журнала, и построенные по этим данным графики выглядели на Ученом совете солидно и весьма убедительно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Посвящается М. Эфросу – Михаил Григорьевич Эфрос (1933–2000), муж Нины Катерли и мой отец.

2.

Это ведь родина. Что же ты плачешь, дурак! – из стихотворения Дмитрия Бобышева «Любой предлог (Венера в луже)». Дмитрий Бобышев – русский поэт, родился в 1936 году. В начале шестидесятых годов вместе с Иосифом Бродским, Анатолием Найманом и Евгением Рейном входил в ближайший круг Анны Ахматовой.

3.

...обещали с утра давать тресковое филе. – Дефицит – это когда чего-то не хватает. Советский дефицит – это когда не хватает всего, но иногда в продаже что-нибудь появляется, и тут главное – узнать об этом раньше других и успеть занять очередь, а то не достанется. Дефицитный товар, в отличие от обычного рыночного, не продается, а дается свыше. Что советский человек сегодня будет есть на обед, что наденет, обует, что будет читать или посмотрит на сцене, решал не сам человек, а таинственные и всемогущие «они», которые «завезли» и «выбросили» (или не завезли и соответственно не выбросили). Самым большим дефицитом при советской власти была возможность выбирать. То есть, выбор, конечно,

оставался, но примерно такой же, как в школьной столовой или в детском саду: ешь, что дают, или сиди голодным.

4.

...заняла очередь, чтобы сперва взвесить. – Продукты, которые надо было сперва взвесить, продавались так: продавец взвешивал товар, записывал вес и цену на упаковке, листе толстой серой оберточной бумаги, и на клочке, с которым покупатель становился в очередь в кассу. Оплатив товар, покупатель шел с чеком обратно в отдел и, если повезет, получал покупку без очереди, если же очередь оказывалась принципиальной, снова становился в хвост.

5.

...член партийного бюро ЖЭКа. – При советской власти партийные бюро, бюро первичной партийной организации КПСС, создавались не только на предприятиях и в организациях, но и при жилищно-эксплуатационных конторах (ЖЭКах) – для пенсионеров и неработающих домохозяек.

6.

...мелкие деньги ... для покупки «Недели» и «Крокодила»... – Газета «Неделя», еженедельное иллюстрированное приложение к «Известиям», и сатирический журнал «Крокодил» стоили по 15 копеек,

значит, на их покупку требовалось 30 копеек. Эти издания были любимы народом, за ними всегда стояла очередь.

7.

...бросил в щель таксофона вместо двух копеек гривенник. – Телефона у Тютиных не было. Звонок из уличного автомата стоил две копейки. Медная двухкопеечная монета была такого же размера, как и никелевая десятикопеечная, поэтому гривенник вместо двушки использовали не только по рассеянности, но и вполне сознательно: двухкопеечные монеты были дефицитом. В конце семидесятых появились таксофоны, которые принимали две монеты по одной копейке.

8.

...с волосатым Андреем ... еще через четыре года... – Два года учебы в техникуме, плюс пять лет института, плюс четыре года аспирантуры, действие повести приходится на конец семидесятых – значит, продвинутый профессорский сынок носил длинные волосы еще в конце шестидесятых, когда мода на прически в стиле хиппи только-только добиралась до СССР.

9.

блат – протекция, связи. Незаменим при поступлении в вуз, устройстве на службу или приобретении дефицитных

товаров.

10.

...обратиться к руководству, чтобы сохранить семью... – то есть, пожаловаться в администрацию института, где работал изменщик, чем основательно попортить ему карьеру.

11.

...хорошую специальность шофера такси. – Профессия шофера такси была весьма прибыльной, и не только благодаря высокой зарплате и чаевым. У таксиста можно было днем и ночью, и даже во время горбачевского сухого закона, купить водку, а некоторые, самые ушлые, доставляли также и девочек.

12.

Одевался ... во все импортное... – Одежду и обувь иностранных фирм («фирменную») в Советском Союзе не покупали, а доставали разными способами – законными и не очень: у знакомых иностранцев, продавщиц, моряков дальнего плавания, корабельных буфетчиц, дипломатов и фарцовщиков, а также в магазинах «Березка» и «Альбатрос», которые торговали за валюту – с иностранцами и за сертификаты (боны, чеки) Внешпосылторга – с советскими гражданами, имевшими на это право. В свободной продаже были, в основном, страшные

костюмы фабрики «Большевичка» и ботинки «Скорород». Иногда, правда, в магазинах «выбрасывали» товары из братских стран народной демократии, например, туфли чехословацкой фирмы «Цебо», или какой-нибудь польский пиджак, но по-настоящему фирменными были вещи, привезенные из капиталистических стран.

13.

...кота ... заставляли глотать золотые царские монеты... – Антонина это не сама придумала – ходил в те годы городской фольклор о хитрых евреях, которые, уезжая в Израиль, будто бы умудрялись вывозить золото и драгоценности в живых котах, попугаях, и даже в урне с прахом любимого дедушки.

14.

...ездит ... на черной машине... – Черный служебный автомобиль с шофером – одна из привилегий советского чиновника. Согласно социалистической таблицы о рангах, в семидесятые годы функционерам среднего уровня полагалась черная «Волга» (ГАЗ-24), деятелям ступенькой повыше – «Чайка» (ГАЗ-13 или 14), а самая верхушка ездил на машине ЗИЛ-117, он же «членовоз». Заметьте, все – отечественные марки.

15.

...шофер носит за ним ... большую картонную коробку. –

В коробке – «паек», набор дефицитных продуктов из закрытого распределителя – специального магазина для начальства: на этой ступеньке социальной лестницы товары не «давали» и не «выбрасывали», а «распределяли» по чинам. Слуги народа невысокого пошиба, вроде профсоюзной шишки Александра Николаевича Петухова, кормились получше, чем их хозяин – народ, но выбора особого не было и у них. Да, эти товарищи пили растворимый кофе, но тоже только одного сорта – в серебристой жестяной банке за шесть рублей.

16.

Как там у вас с квартирой? – Завком решает. – Завком – заводской комитет профсоюзной организации. Занимался распределением разных благ, в том числе, путевок и квартир для членов профсоюза, а в профсоюзе тогда состояли все работники, это было обязательной формальностью при поступлении на службу. В Советском Союзе житель комнаты в коммуналке в принципе мог бесплатно получить отдельную квартиру, записавшись в общегородскую очередь, но ждать приходилось до десяти лет, а то и дольше. На производстве этот вопрос решался быстрее, особенно если ты, как Семенов, с директором на дружеской ноге, да еще и депутат.

17.

...в макулатуру ... за талоны... – Талоны на дефицитные книги за макулатуру появились в 1974 году. За 20 кг сданной макулатуры давали один талончик, на который, если повезет, можно было купить «Королеву Марго» или «Женщину в белом», за 60 кг – три талончика на всех трех мушкетеров, десять и двадцать лет спустя. По талонам продавались пользовавшиеся большой народной любовью исторические романы Мориса Дрюона и Валентина Пикуля. При этом обычный школьный сбор макулатуры, не за книги, а потому что партия велела, тоже никто не отменял. Думаю, что не ошибусь, предположив, что у директоров школ, завучей и особо доверенных учителей домашние библиотеки были укомплектованы пикулями, дрюонами и прочим книжным дефицитом.

18.

«Рубин-205» – отечественный ламповый черно-белый телевизор. Но по тем временам – ценная вещь.

19.

...еще пять лет не собрался менять сукно, а тут вдруг раз – и реформа ... этого быть не могло. – До ближайшей – павловской, в честь тогдашнего премьер-министра, – реформы, когда у советских граждан под видом обмена банкнот конфискуют изрядную часть сбережений, – еще почти три пятилетки. 22 января 1991 года в вечерней

программе «Время» неожиданно объявят, что ровно в полночь купюры достоинством 100 и 50 рублей утратят свое достоинство. Сберкассы и магазины уже закрыты. Люди бросятся в кассы метро – успеть обменять купюры на мелкие, на почту и телеграф – отправлять денежные переводы самим себе, в кассы вокзалов и аэропортов – покупать билеты куда попало, чтобы потом сдать. Под утро к сберкассам и почтовым отделениям выстроятся огромные очереди. Выдачу наличности в сберкассах ограничат 500 рублями, обмен – 1000 рублями.

20.

...после товарищеского суда... – Сейчас даже трудно объяснить, что это такое. В положении о товарищеских судах, утвержденном Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1961 году, написано:

21.

...гостит в далекой дружественной Болгарии... – Лишнее подтверждение того, что товарищ Петухов – мелкая сошка: он гостит в Болгарии, а не в Италии или Франции, среди загнивающего капитализма. Выездную визу в капиталистическое государство давали только после посещения братской страны социалистического лагеря, из которых Болгария – наиболее братская, и попасть туда было проще всего: «Курица не птица – Болгария не заграница».

22.

...эвакуированной с ребенком и без аттестата. – Аттестат – денежное пособие семьям офицеров – Розе Львовне с ее неясным семейным статусом не полагался. Если бы Моисей Кац и впрямь погиб или пропал без вести, она получила бы пенсию, а так – ничего.

23.

магазин «Океан» – один из самых больших в Ленинграде рыбных магазинов, куда ездили за дефицитом со всего города. Находился он в старинном доме купцов Терешиных, он же дом Денежкина, построенном в начале XIX века на площади Мира (Сенной) между Садовой улицей и каналом Грибоедова (Екатерининским). Просуществовал до 1999 года.

24.

...метро, воздвигнутое на месте упраздненной ... церкви Успения Пресвятой Богородицы... – Церковь взорвали в 1961 году, с тех пор это место считается «нехорошим». Например, 10 июня 1999 года тут обвалился пятиметровый козырек станции метро, убив семь человек.

25.

...автобусный вокзал... – Автовокзал, откуда в семидесятые

годы отправлялись, в основном, пригородные автобусы, располагался в здании бывшего Караульного дома (гауптвахты) между Садовой улицей и Спасским переулком.

26.

...космические пришельцы... – 20 сентября 1977 года общество было взбудоражено новостью о «Петрозаводском диве» – неопознанном летающем объекте, который на десять минут завис над Онежским озером, испуская лучи золотистого цвета, после которых в окнах окрестных домов образовались дырки. Народ был уверен, что это летающая тарелка с инопланетянами – нашлись даже люди, вполне трезвые, которые своими глазами видели зеленых человечков с Марса или Сириуса. Интеллигенция передавала из рук в руки тетрадь с письмом о проблеме НЛО, которое профессор Ажажа написал председателю Совета Министров СССР Косыгину, а другой профессор, Китайгородский, разоблачал коллегу, публично заявляя о том, что никакой проблемы нет, и никаких НЛО нету тоже, потому что не может быть никогда. ...Истина, как всегда, где-то рядом.

27.

...есть чего бояться: войны с Китаем... – Войны с Китаем советские люди боялись ужасно, особенно после вооруженного пограничного конфликта, случившегося в

1969 году на острове Даманский. В 1975 году в народе прошел слух, что китайский лидер Мао Цзэдун собирается осенью объявить Советам войну и пообещал: «Русские будут есть крыс!» Ходила легенда, будто бы рассказанная одним таксистом. Однажды он вез старика, который предсказал: «Лето будет жарким, а осенью случится война с Китаем. И еще ты сегодня повезешь мертвеца!» Таксист, ясное дело, не поверил, но потом его вызвали отвезти в больницу человека с инфарктом, и тот по дороге скончался... «Я все это сам слышал, сослуживец брата рассказывал!» Войны не случилось, а еще через год помер председатель Мао.

28.

...денно и ночью дежурит у нашего телефонного провода... – Считалось, что избежать прослушки телефона Большим Братом, он же Товарищ Майор КГБ, можно, только выдернув аппарат из розетки, да и то – без гарантии.

29.

...не войдет ли Павлов, руководитель их группы. – В каждой делегации или туристической группе, отправлявшейся за границу, обязательно был сотрудник КГБ, товарищ в штатском, обычно руководитель группы или референт, на случай, если кто-нибудь, не дай Бог, задумает остаться в чужой стране насовсем. Он же бдительно следил за «руссо туристо обliko морале», то есть за поведением туристов из

СССР, которые должны были служить образцом моральной устойчивости и не поддаваться на соблазны загнивающего Запада. («Руссо туристо облик морале» – крылатая фраза из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», вышедшей на экраны в 1968 году).

30.

«Подмосковные вечера» – песня на музыку Василия Соловьева-Седого и стихи Михаила Матусовского, без которой не обходилось никакое застолье, одна из самых любимых советским народом. Песня написана в 1953–1956 годах и в черновом варианте называлась «Ленинградские вечера». Затем ее решили вставить в документальный фильм «В дни спартакиады», где песня должна была звучать на фоне кадров Подмосковья, и авторы быстренько заменили место действия. Исполнил «Подмосковные вечера» знаменитый певец, актер МХАТ Владимир Трошин, потом фонограмму прокрутили по радио, и песня стала самым знаменитым советским шлягером на несколько десятилетий. Она даже занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая исполняемая, благодаря радиостанции «Маяк», которая использует «Подмосковные вечера» в своих позывных.

31.

...хороша ... страна Болгария, а Россия лучше всех. –

«Под звездами Балканскими», песня 1944 года на музыку Матвея Блантера и слова Михаила Исаковского. Ее исполнял Леонид Утесов.

32.

...в «Север» пообедать... – знаменитое кафе-кондитерская «Север» на Невском проспекте, 44. За пирожными и тортами от «Севера» приезжали со всего города, к кондитерскому магазину всегда стояла очередь, а перед праздниками – иногда и всю ночь. До 1951 года кафе называлось «Норд», во время борьбы с космополитизмом название перевели на русский.

33.

...ни одного ночного бара. Только на валюту... – Валютные бары – по определению только для иностранцев. Нелегальная купля-продажа долларов и других иностранных денег (а легальной – не было) каралась тюрьмой по статье 88 УК РСФСР: «Валютные операции». Статью отменили в 1994 году, а в 1990 году – сильно смягчили: фактически с этого времени валюту стало можно покупать и продавать свободно.

34.

...чаем «Краснодарским» сорт второй. – Петухов сгустил краски: в семидесятые годы в Ленинграде был вполне

доступен грузинский чай первого сорта, популярный чай № 36, смесь грузинского и индийского, и даже, если повезет, знаменитый индийский чай в желтых пачках со слонем.

35.

...и городской колбасой! – Городская – это не сорт. Это изготовленная на городском мясокомбинате простая колбаса для простых смертных, дешевая и соответствующего качества. Фольклорный образ «колбасы с туалетной бумагой» – вряд ли правда: туалетная бумага была дефицитом не меньшим, чем мясо. Но другая фольклорная история – о человеке, который побывал с экскурсией на мясокомбинате и после этого навсегда перестал есть колбасу, – кажется мне более достоверной. Непростые смертные, вроде товарища Петухова А. Н., кушали колбасу из мяса и другие продукты качеством повыше «городских». Еду для элиты готовили в специальных цехах и продавали через спецстоловые и спецраспределители.

36.

...на всю квартиру включил «Голос Америки». – Представляю, какой в комнате раздался вой и свист: на дворе восемь вечера, а прорваться сквозь глушилки – мощные генераторы электронных шумов – слушателям «вражеских голосов» удавалось лишь далеко за полночь. Впрочем, новоиспеченный диссидент Петухов хотел не

радио послушать, а выразить протест, для какой цели вой и свист тоже годились.

37.

...не приняли на филфак с золотой медалью? – Сказать, что евреев никогда не принимали в советские вузы, будет преувеличением – иначе откуда бы в нашей стране взялись еврей-инженеры, преподаватели и ученые? Другое дело, что, так же как в Российской империи, в Советском Союзе существовала процентная норма. Была она, в отличие от царской России, негласной и менялась в зависимости от института, факультета и политической ситуации.

38.

...твой доклад читает ... в Лондоне ариец с партийным билетом? – При прочих равных условиях, добиться командировки в капиталистическую страну члену КПСС было намного легче, чем беспартийному. Еврей, да еще и не состоявший в партии, таких шансов практически не имел – особенно после Шестидневной арабо-израильской войны 1967 года, когда Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем, и эта страна считалась потенциальным противником СССР.

39.

...подам заявление, с работы выгонят, а разрешения не

дадут. – действительно, разрешение на эмиграцию могли дать, а могли и отказать. Тех, кто подал заявление и не получил визу на выезд, называли «отказниками».

40.

«городская» булка – бывшая «французская», стоила 7 копеек.

41.

...чаю, бомбина! – Народный каламбур на тему популярной песни Мирей Матье «Ciao Bambino, Sorry». Песня 1976 года из альбома «Et tu seras poite», композитор – Тото Кутуньо, тоже очень популярный в конце семидесятых, когда в СССР вспыхнула мода на итальянскую эстраду. В октябре 1976 года Мирей Матье побывала в Москве и выступила на концерте в Большом театре. В те же дни был снят телевизионный фильм «Мирей Матье в Москве», где среди других песен она исполняла и «Чао бамбино». Запись с этой песней впервые показали в новогоднем «Голубом огоньке» 1 января 1977 года. Она произвела фурор.

42.

...Майя Кристалинская ... «Я давно уж не катаюсь, только саночки вожу»... – Майя Владимировна Кристалинская (1932–1985) – знаменитая советская эстрадная певица. Песня «За окошком свету мало», музыка Эдуарда

Колмановского, слова Константина Ваншенкина.

43.

рахмонес – (идиш) милосердие. Но в белорусском местечке, откуда родом Роза Львовна, это слово – вероятно, по созвучию с русским «рохля» – также означало «размазня, недотепа».

44.

...анкетные данные. На случай заграничной командировки. – см. примечания 5 и 38 к этой повести.

45.

...содержать семью и при этом работать честно. – Роза Львовна осуждает бывшего мужа: в стране, где свободного предпринимательства не было, а товарный дефицит, наоборот, был, работник торговли имел репутацию человека зажиточного, но нечистого на руку.

46.

БАМ, КамАЗ – всесоюзные ударные комсомольские стройки семидесятых – восьмидесятых годов: строительство Байкало-Амурской магистрали и автомобильного завода в Набережных Челнах. Кроме комсомольцев-добровольцев, роль которых была сильно преувеличена официальной пропагандой, там работали заключенные (на БАМе,

в основном, они и работали). Про БАМ ходило много анекдотов, например, что эта аббревиатура расшифровывается как «Брежнев Абманул Молодежь». В нашей семье, если хотели сказать, что у кого-то не все дома, вспоминали патриотическую песню Александра Морозова и Виктора Гина «Большой привет с большого БАМа!»

47.

председатель совета отряда – пионерского.

48.

А если не дубленка, а Коммунизм? – Дубленки вошли в моду в середине семидесятых годов – советский человек в дубленке и джинсах считался шикарно одетым. А в коммунизм к тому времени мало кто верил. В 1961 году на XXII съезде КПСС Никита Сергеевич Хрущев пообещал наступление коммунизма к 1980 году, а полтора десятка лет спустя его слова «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» уже воспринимались как анекдот.

49.

...цель – ничто, а движение – все ... теоретик перманентной революции. – На самом деле это сказал не Троцкий, как думает рассказчик, а Эдуард Бернштейн, лидер II Интернационала и правого крыла немецкой

социал-демократии. Был он, наоборот, против всяческих революций, за что Ленин в своих статьях ругал его «ревизионистом», «оппортунистом» и «реформистом».

50.

...лежа бесплатно в больнице «25 Октября»... – Городская больница № 17 «В память 25 октября» в семидесятые годы располагалась на Фонтанке у Калинкина моста и считалась одним из самых ужасных ленинградских медучреждений, где больные заживо гнили в коридорах, дожидаясь хоть какой-нибудь помощи. Теперь это Александровская больница на проспекте Солидарности. Врачи там, говорят, хорошие, а вот условия недалеко ушли от тех, советских.

51.

...в школе ... сбор металлолома... – Это сегодня у нас сбор металлолома, особенно цветного, – бизнес, а при советской власти... См. примечание 17 про школьный сбор макулатуры.

52.

...у ихнего председателя дома религиозная пропаганда. – Религиозная пропаганда в 1978 году для законопослушного обывателя была столь же недопустима, как, например, в 2013 году – публичное оскорбление чувств верующих.

53.

...обернутые красными полотнищами фонари... – Так в семидесятые – восьмидесятые годы украшали Марсово поле к праздникам: красная ткань, натянутая на металлический каркас, закрывала весь фонарь сверху донизу. Злые языки называли такие фонари фаллическими символами.

54.

Прохода нет, нельзя здесь... – Во время демонстраций 7 ноября и 1 мая улицы перегораживали не только от машин, но и от пешеходов – чтобы ликующие праздничные колонны шли в строгом порядке, и никто не смылся раньше времени. Сцена со Скорой помощью, которую не пропустили к больному, – реальная, автор наблюдала ее у своего дома на Марсовом поле.

55.

...за знамя два отгула обещали. – За отгулы на что только ни соглашался советский рабочий и служащий – и знамя нести, и кровь сдавать, и вечером патрулировать улицы с красной повязкой дружинника. Лишнее свободное время тогда ценилось больше, чем дополнительные деньги, на которые мало что можно было купить.

56.

...Саяно-Шушенскую, вон, сдаем... – Первый агрегат

Саяно-Шушенской ГЭС был с большой газетной помпой пущен в декабре 1977 года. Значит, действие повести точно приходится на ноябрь 1977 – май 1978 года.

57.

...Косой пробор ... темный пиджак, звездочка на груди. – На портрете, судя по всему, Григорий Васильевич Романов, с 1970 по 1983 год – первый секретарь Ленинградского обкома КПСС. Антисемит, люто ненавидел интеллигенцию, особенно творческую, и почему-то – собак. Видимо, боялся и тех, и других.

58.

Плечи вниз, дугою ноги и как будто стоя спит... – Библиотекарь Роза Львовна немного неточно цитирует классику – стихотворение Аполлона Майкова «Сенокос»:

59.

...возьму развод, отмечу заразу на хрен... – Когда Анатолия осудят, Полина собирается выписать его со своей жилплощади.

60.

«Землянка» – другие названия: «В землянке», «Бьется в тесной печурке огонь...» – песня на музыку Константина Листова и слова Алексея Суркова. Песня появилась в 1942

году и сразу стала очень популярной среди солдат, но летом того же года фронтовая цензура потребовала убрать «упаднические» слова о смерти:

61.

«Через две зимы» – песня на музыку Владимира Шаинского и слова Михаила Пляцковского. В исполнении Юрия Богатикова она была признана победителем самого престижного конкурса советской песни – телевизионного фестиваля «Песня-76». Финальный концерт передавали в январе 1977 года, а в мае 1978 года она оставалась на пике популярности. Семенов смотрит телевизор и всегда в курсе событий. Интересно, слово «нежные» на «добрые» в первой строке он заменил случайно или сознательно?

62.

Анна Ахматова. – Из стихотворения 1961 года «Родная земля».

63.

...научно-исследовательский институт ... в соседнем здании. – Институт, где служил Максим Лихтенштейн, во многом списан с ЦНИИ Технологии судостроения, где Нина Катерли работала инженером с 1962 по 1976 год. В ее мемуарах есть яркие страницы, посвященные этому институту. Например:

64.

...дворников в городе пока еще недостаточно. – Работать дворником в большом городе при советской власти было выгодно: им давали временную (лимитную) прописку и служебную жилплощадь. Тем не менее, дворников не хватало, и уборка снега была такой же повинностью рабочих и служащих, как субботники на стройке, поездки на овощную базу – перебирать гнилые овощи и фрукты и в подшефный колхоз – на прополку и уборку урожая картофеля, капусты и корнеплодов в порядке шефской помощи.

65.

...другие ездят по заграницам, а он – нет. – см. примечание 38 к повести «Треугольник Барсукова (Сенная площадь)».

66.

...совершить заграничную поездку ... только в один конец. – Советский человек, решившийся на эмиграцию, знал, что отныне пересечь границу в обратном направлении он не сможет ни туристом, ни иностранным специалистом, ни по приглашению родственников. Расставаясь в международном аэропорту, прощались навсегда.

67.

...замдиректора по кадрам Пузырева... – Заместитель директора по кадрам – должность ответственная и требующая высокой бдительности, поэтому, как правило, ее занимал человек в штатском костюме, плохо скрывающем погоны сотрудника органов госбезопасности.

68.

...Максиму Ильичу ... – тридцать семь. – Максим Лихтенштейн родился перед войной в ноябре 1940 года. Действие повести «Червец» происходит в 1978 году.

69.

...пообещав им по сто граммов спирта. – Технический спирт, в лучшем случае ректификат, в худшем – гидролизный, был универсальной валютой при расчетах инженеров с рабочим классом. У домохозяйек той же цели служила «маленькая» водки, заначенная на случай прихода сантехника или электрика.

70.

...возросшее значение проблемы охраны окружающей среды... – Профессор, как всегда, держит нос по ветру: государственная кампания по охране окружающей среды была объявлена на XXV съезде КПСС, который проходил за два года до описываемых событий, с 24 февраля по 5 марта 1976 года.

71.

...поставленные соответствующими Решениями... – решениями Партии и Правительства, провозглашенными на съезде и поднятыми, – как обязательно сказал бы профессор Кашуба, – на уровень первоочередных народнохозяйственных задач.

72.

...из-за пятого пункта... – Заметка для будущих поколений на случай, если к тому времени графу «национальность» не восстановят: в советском паспорте она шла под пунктом пять, так же, как и в личном листке учета кадров, который заполняли при устройстве на службу (сегодня пятый пункт – «гражданство»). Впрочем, словосочетание «пятый пункт» или «пятая графа» тогда употреблялось по отношению только к одной известной национальности. Советский кинодраматург, сценарист и поэт Евгений Агранович в 1962 году сочинил стихотворение «Еврей-священник», где были строки:

73.

...чистая вул. – wool (англ.) шерсть. Смесь английского с нижегородским, отдававшая легкой фрондой, была в моде у советских ИТР (инженерно-технических работников).

74.

Надо брать. – цитата из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман», который вышел в 1977 году и в 1978 году был признан лидером кинопроката.

75.

...«азохэнвеем» ... «вейзмирам»... – Восклицания на идиш. Аз ох н вэй: «Когда [только и остается сказать] ох и вэй». Вейзмир: «Боже мой», буквально: «Больно мне».

76.

...«шиксой» ... ни боже мой! – На самом деле «шиксе» на идиш – это просто девица любой другой национальности, кроме еврейской. Но в устах правоверных евреев и примкнувших к ним Гольдиных это определенно не тот случай, чтобы жениться.

77.

лэках – медовый пирог, блюдо еврейской кухни.

78.

«Астория» – для гешефтмахеров... – Честному человеку в этом шикарном, дорогом ресторане делать нечего, да и не по карману, – считает Гольдин, – только гешефтмахерам, то есть дельцам теневой экономики. Другого бизнеса в СССР семидесятых годов не было.

79.

...пренебрежение к физическому труду? Вот и «Литературка» пишет... – В «Литературной газете», как и вообще во всех советских газетах, публиковались и широко обсуждались материалы съездов партии, а XXV съезд КПСС призывал «больше внимания уделять трудовому воспитанию учащихся, профессиональной ориентации молодежи...»

80.

...мастеров из «Невских зорь»... – При советской власти это была единственная в Ленинграде, разумеется, государственная фирма-монополист, которая занималась уборкой, ремонтом квартир и разными другими услугами населению – оттуда можно было, например, вызвать тамаду на свадьбу.

81.

...«бомбами» с «бормотухой» ... «фаустпатронами»... – большие, 0,75 литра, бутылки дешевого крепленого вина. Как все алкогольные напитки, они продавались с 11.00 до 19.00.

82.

...престижный «ящик» ... заказа. – Заводы и институты, работавшие на оборону, назвались «почтовыми ящиками»

номер...», а то, что там строили или проектировали, – «заказом номер...» или «заказом товарища Такого-то». Продукция этих контор была тщательно засекречена.

83.

...единица – ноль... – Цитата из поэмы Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин»:

84.

...«Психиатрическая больница». – Это городская психиатрическая больница имени Кащенко, расположенная в поселке Никольское Гатчинского района, в бывшей усадьбе Сиворицы, принадлежавшей семье промышленников Демидовых. Барский дом был построен в конце XVIII века по проекту архитектора Старова. Примерно через сто лет усадьба за долги перешла к Петербургскому земству, и в 1905–1909 годах здесь была создана психоневрологическая лечебница. Ее основателем стал врач-психиатр Петр Петрович Кащенко.

85.

...в лаковых сапогах-чулках... – мода середины семидесятых: высокие, почти до колена, блестящие сапоги, часто на толстой «платформе»; мягкое голенище обтягивало ногу, как чулок или перчатка.

86.

...писал в анкете, что был на оккупированной территории... – «Находились ли вы, ваши родственники на оккупированной территории, были ли в плену или интернированы?» – обязательные вопросы анкеты, которую советский человек заполнял при поступлении в вуз и устройстве на работу. Введенная в 1947 году, графа об оккупированных территориях чаще всего была формальностью, но учитывалась при оформлении допуска к секретным сведениям. Отменили ее в конце пятидесятих годов, но в отделах кадров «почтовых ящиков» (см. примечание 21) этот вопрос задавали вплоть до начала девяностых.

87.

...по итогам соцсоревнования... – Социалистическое соревнование между цехами, отделами или предприятиями – наш ответ капиталистической конкуренции. Когда соревноваться было не с кем, этим словом называлась увеличенная норма выработки. Например, в упомянутом газетном отделе (см. примечание 21) норма обработки новых поступлений составляла 82 газеты в час, а с учетом соцсоревнования – 90. За те же, разумеется, деньги.